

## ГЛАВА II. V 92

### Сентиментализмъ и романтизмъ.

Въ русской литературѣ и жизни XIX-ый вѣкъ начался сентиментализмомъ, сразу разорвавшимъ ржавыя цѣпи старыхъ литературныхъ формъ. Минуло сто лѣтъ — и мы теперь нѣсколько легкомысленно относимся къ этой замѣчательной эпохѣ русской литературы: подъ сентиментализмомъ мы чаще всего понимаемъ нѣчто слезоточивое, чувствительное, приторно-сладкое, и такимъ образомъ изъ-за деревьевъ не видимъ лѣса, не видимъ того глубокаго значенія, которое имѣлъ сентиментализмъ для своего времени и имѣеть до сихъ поръ въ исторіи развитія русской интеллигенціи.

Ядро русской интеллигенціи, сформировавшееся вокругъ шестидесятниковъ и семидесятниковъ XVIII-го вѣка, хотя и было среднедворянскимъ по своему сословному составу, но по своимъ задачамъ и цѣлямъ было внѣсословнымъ и внѣклассовымъ. Тѣмъ не менѣе рознь между интеллигенціей и высшими общественными классами становилась чѣмъ дальше, тѣмъ больше: интеллигенція не могла удовлетвориться той литературной пищей, которой питались разные «сыны роскоши, прохлады и нѣгъ». Ложно-классицизмъ, это излюбленное дѣтище высшаго дворянства и аристократіи, мало-по-малу сталъ ихъ *enfant terrible*, послѣ того какъ его мертвящій шаблонъ, его мѣщанство дошли до крайнихъ предѣловъ. Появились различные Петровы, Хвостовы и *tutti quanti*: дальше идти было некуда... Новый общественный слой предъявилъ литературѣ иныя требованія, явился выразителемъ иныхъ идеаловъ: героическіе идеалы ложно-классицизма были замѣнены *гуманическими* идеалами сентиментализма.

Идеологія средняго дворянства и высшаго мѣщанства (въ сослов-

номъ (значеніи) — такова соціологическая подпочва сентиментализма, но *только подпочва*, подчеркиваемъ это, а не непосредственная суть его. Вполнѣ естественнымъ является поэтому тотъ фактъ, что именно средне-дворянская интеллигенція второй половины XVIII-го вѣка явилась первой выразительницей настроеній сентиментализма. Историку литературы чрезвычайно заманчиво остановиться подробно на разборѣ сентименталистическихъ вѣяній еще въ сатирическихъ листкахъ Новикова, но мы должны пройти мимо этой литературной эмбриологіи. Достаточно указать на глубокую связь съ сентиментализмомъ одного изъ замѣчательнѣйшихъ членовъ Новиковскаго кружка, Радищева; не говоря о томъ, что «Путешествіе» Радищева является по формѣ сколкомъ съ «Сентиментальнаго путешествія» Стерна, оно и по содержанію, по тону, по «гуманическимъ» идеаламъ, по «трогательнымъ» и чувствительнымъ эпизодамъ есть первое произведеніе нарождающагося русскаго сентиментализма.

Однако евангеліемъ русскаго сентиментализма считается, и вполнѣ справедливо, не «Путешествіе» Радищева, а одновременныя ему «Письма русскаго путешественника» Карамзина: только въ этомъ произведеніи (1789—1790 гг.) впервые проявился весь сентиментализмъ въ своемъ цѣломъ, со своими сильными и слабыми сторонами, только Карамзинъ можетъ считаться полнымъ представителемъ русскаго сентиментализма, только познакомившись съ нимъ мы будемъ имѣть возможность подвести итоги и сдѣлать выводы, связывающіе сентиментализмъ съ проблемой индивидуализма.

«Письма русскаго путешественника» начинаютъ собою XIX-й вѣкъ въ русской литературѣ, создаютъ эпоху. Это одинаково справедливо и въ области формы, и въ области содержанія. Давно уже стало общимъ мѣстомъ, что Карамзинъ реформировалъ русскій языкъ, влилъ новое содержаніе въ обновленныя формы, оказалъ безпримѣрно сильное вліяніе на всю русскую литературу; уже по одному этому съ Карамзина «должно полагать начало русской литературы... Карамзинъ явился преобразователемъ языка и стилистики... началъ писать языкомъ общества»... Эти слова Бѣлинскаго сохранили свою силу до настоящаго времени: дѣйствительно, русская литература какъ общественно-культурная сила появилась на свѣтъ только послѣ стилистическаго переворота Карамзина. Въ эпоху ложно-классицизма русская литература была роскошью, въ лучшемъ случаѣ была пріятна и полезна, какъ лѣтомъ сладкій лимонадъ; для общественно-просвѣтительныхъ начинаній московскихъ розенкрейцеровъ, для кружка Новикова и Радищева литература была уже орудіемъ борьбы, но она была за-

кована въ такіе стилистическіе тиски, которые дѣлали бесплодной всякую попытку общественнаго воздѣйствія въ широкихъ размѣрахъ. Достаточно вспомнить неуклюжіи, заплетающійся книжный языкъ замѣчательной книги Радищева. Русская интеллигенція XVIII-го вѣка была трибуномъ по духу и заикой по рѣчи, она была Демосѣеномъ съ камешками во рту. Понятно громадное значеніе Карамзина, который впервые заговорилъ въ литературѣ разговорнымъ языкомъ интеллигенціи своего времени: только съ этихъ поръ стало возможнымъ общественное значеніе литературы; литература изъ роскоши стала потребностью, о чемъ достаточно ясно свидѣтельствуетъ хотя бы исторія журналистики. Послѣ реформы литературной и стилистической, въ эпоху если не великихъ, то во всякомъ случаѣ коренныхъ государственныхъ реформъ начала XIX-го вѣка, литературная и общественная жизнь закипѣла. Правительственный терроръ 1796—1801 гг. на короткое время подавилъ всѣ проявленія жизни, но послѣ него она проявилась съ тѣмъ большей силой. Журналы «Вѣстникъ Европы» Карамзина (1802 г.), «Московскій Меркурій» (1803 г.), «Сѣверный Вѣстникъ» (1804 г.), «Журналъ Россійской словесности» (1805 г.), «Московскій Зритель» (1806 г.), «Лицей» (1806 г.) и т. п. имѣли иногда свыше тысячи подписчиковъ. Литература стала потребностью, она въ дѣйствительности получила общественное значеніе; заслуга Карамзина въ этомъ отношеніи достаточно значительна, чтобы быть отмѣченной.

Все это, однако, мимоходомъ; намъ интересна не новая литературная форма и не стилистическая реформа, а новая идеологія, новое вино, влитое въ новыя мѣха. Бѣлинскій остроумно замѣтилъ, что въ Карамзинѣ галлицизмъ выраженъ былъ только слѣдствіемъ галлицизма его мыслей, новая форма была только слѣдствіемъ новаго содержанія, содержаніе же это (въ «Письмахъ русскаго путешественника») такъ создало собой эпоху. Обратимся же къ «Письмамъ» Карамзина и посмотримъ въ чемъ главное ихъ содержаніе, характеризующее собою сентиментализмъ; посмотримъ, почему эти «Письма» — «произведеніе великое», по мнѣнію того же Бѣлинскаго.

«Письма русскаго путешественника» — произведеніе постольку «великое», поскольку глубоко «гуманическое», въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова; всякій иной масштабъ обращаетъ эти «Письма» въ легкую болтовню о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ. Двадцатилѣтній Карамзинъ вынесъ изъ своего путешествія чисто внѣшнія впечатлѣнія и вернулся домой съ тѣмъ же нравственнымъ багажемъ, съ которымъ и уѣхалъ въ путешествіе. Онъ посѣщалъ музеи, театры,

сады, знакомился съ выдающимися литературными и общественными дѣятелями Запада, изумлялся, благоговѣлъ, проливалъ нѣжныя слезы въ объятіяхъ Натуры—и тщательно заносилъ все это въ свою записную книжку. Онъ «обогащалъ свой умъ» бесѣдами съ Кантомъ, Виландомъ, Лафатеромъ, Платнеромъ, Гердеромъ, но къ этимъ бесѣдамъ Карамзина побуждало только одно любопытство и желаніе «имѣть въ душѣ своей образъ» европейской знаменитости: неудивительно послѣ этого, что съ Кантомъ Карамзинъ ведетъ разговоръ о Китаѣ (1) и добродушно сознается, что въ Кантѣ «все просто, кромѣ... его Метафизики» (письмо отъ 19 іюня 1789 г.)... Всѣ впечатлѣнія ложились поверхностными штрихами на неглубокую душу Карамзина; достаточно указать на тотъ фактъ, чрезвычайно для насъ интересный, что, пробывъ въ Парижѣ съ марта по іюль 1790 г., т.-е. въ самый разгаръ великой революціи, онъ заполняетъ свои письма описаніемъ различныхъ садовъ и музеевъ и только передъ самымъ отъѣздомъ удосуживается побывать въ Національномъ Собраніи. Интересно, что Національное Собраніе оставило на Карамзинѣ слѣдующее впечатлѣніе: «вообще въ засѣданіяхъ нѣтъ ни малой торжественности, никакого величія, но многіе риторы говорятъ краснорѣчиво»... И только! Стоило ли ѣздить такъ далеко, чтобы обогатить свой умъ и сердца читателей такими мизерными впечатлѣніями отъ міровыхъ историческихъ событій? И не вспоминаются ли при чтеніи писемъ Карамзина донесенія русскихъ посольствъ XVII в. изъ Испаніи, Италіи и Франціи о томъ, что въ «Санжарменѣ» видѣли они «воды взводныя», во Флоренціи ѣли яичницу изъ страусова яйца, а въ Испаніи были удивлены тѣмъ, что «пьяные не валяются и не кричатъ по улицамъ»?...

Если мы подробно изучимъ «Письма русскаго путешественника» съ такой точки зрѣнія, то неизбежно придемъ къ вполне справедливому заключенію, что сентиментализмъ Карамзина представляетъ изъ себя явно регрессивное движеніе въ области интеллектуальнаго развитія русской интеллигенціи. Нечего и сравнивать Карамзина съ такими выдающимися представителями русской интеллигенціи, какъ Новиковъ или Радищевъ, нечего и сравнивать по глубинѣ мысли «Путешествіе» послѣдняго съ поверхностной болтовней русскаго путешественника въ его письмахъ: достаточно сравнить письма Карамзина съ письмами изъ-за границы Фонвизина, побывавшаго въ тѣхъ же краяхъ незадолго до Карамзина. Письма Фонвизина несравненно глубже и серьезнѣе, взгляды шире и опредѣленнѣе; онъ описываетъ политическое состояніе Франціи, отмѣчаетъ общественныя настроенія, сравниваетъ, сопоставляетъ, выводитъ заключенія (см., напр., его письма отъ 24 дек.

1777 г., 15 янв. 1778 г. и др.). И все-таки письма Фонвизина имѣютъ самое минимальное историко-литературное значеніе, въ то время какъ письма Карамзина создали не только литературную, но и идеологическую эпоху.

Прежде всего надо отмѣтить, что если Карамзинъ сдѣлалъ большой шагъ назадъ въ области общественно-интеллектуальной эволюціи русской интеллигенціи, то одновременно онъ далеко шагнулъ впередъ въ области созданія новыхъ обширныхъ круговъ этой интеллигенціи, въ области созидательной пропаганды. При низкомъ уровнѣ развитія читающей публики только поверхностное, не глубокое, но въ то же время «занимательное» произведеніе могло широко разойтись по читающей Россіи. Мы уже отмѣтили роль Карамзина въ области созданія кадровъ новой интеллигенціи и значеніе его стилистической реформы; теперь буквально то же самое можно повторить и о содержаніи, вложенномъ въ новыя формы. Но такое педагогическое значеніе сентиментализма должно быть отмѣчено только мимоходомъ; основной вопросъ заключается во внутреннемъ смыслѣ этого литературнаго теченія, и выше мы уже указали, съ какимъ масштабомъ слѣдуетъ подходить къ Карамзину, чтобы составить вѣрное понятіе о значеніи сентиментализма.

Сентиментализмъ, сказали мы, есть теченіе «гуманическое», въ самомъ широкомъ значеніи этого слова: *въ сентиментализмъ впервые реальная личность выступаетъ впередъ изъ-за абстрактнаго чело-вѣка*. Въмѣстѣ съ этимъ *сентиментализмъ въ высокой степени синтетиченъ* и въ этомъ отношеніи вполнѣ противоположенъ аналитическому характеру раціоналистическихъ литературныхъ теченій XVIII-го вѣка. Въ этихъ двухъ пунктахъ, по нашему мнѣнію, выражена основная идеологическая сущность сентиментализма. Начнемъ съ синтетической тенденціи этого направленія. И русскій, и западно-европейскій сентиментализмъ былъ реакціей не только противъ ложно-классицизма, о чемъ рѣчь будетъ далѣе, но вмѣстѣ съ тѣмъ и противъ того раціоналистическаго направленія, которое господствовало въ XVIII-мъ столѣтіи. Русскій сентиментализмъ не могъ быть рѣзко анти-раціоналистичнымъ, подобно западному, уже по одному тому, что у насъ не было рѣзко выраженнаго раціонализма; наши «вольтерьянцы», чаще всего принадлежавшіе къ аристократіи, не входили въ составъ интеллигенціи, а раціонализмъ возникающей интеллигенціи стыдливо драпировался въ складки полу-мистическаго, полу-раціоналистическаго масонства. Поэтому и русскій сентиментализмъ не былъ воинственно анти-раціоналистическимъ (отмѣтимъ въ скобкахъ, что самъ Карам-

зинъ, членъ масонскаго общества, относился вполнѣ враждебно къ мистицизму); однако нельзя не видѣть реакціи противъ рационализма въ томъ отношеніи къ окружающему міру, какое проявилъ сентиментализмъ въ провозглашеніи примата чувства надъ разумомъ, сердца надъ умомъ. Сентиментализмъ не разсѣкаетъ, не анализируетъ, не разлагаетъ сложныя окружающія явленія на составныя части, но, наоборотъ, стремится соединить ихъ въ одно, обнять ихъ единымъ порывомъ чувства. Здѣсь кроется разгадка того чуткаго и любовнаго отношенія къ природѣ, которое характерно для сентиментализма; мѣсто ложно-классическаго шаблона, холодной напыщенности и ходульности заступаетъ *человѣческое* отношеніе къ окружающему міру, простое и искреннее восхищеніе самыми обыденными картинами окружающей природы. «Вечеръ пріятенъ. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ корчмы течетъ чистая рѣка. Берегъ покрытъ мягкой зеленою травой и осѣненъ въ иныхъ мѣстахъ густыми деревьями. Я отказался отъ ужина, вышелъ на берегъ и вспомнилъ одинъ московскій вечеръ, въ который, гуляя съ П(етровымъ) подъ Андроньевымъ монастыремъ, съ отми́ннымъ удовольствіемъ смотрѣли мы на заходящее солнце» (письмо отъ 1 іюня 1789 г.). Это новыя мысли, новыя чувства, новыя воспріятія: Карамзинъ способенъ «съ отми́ннымъ удовольствіемъ» любоваться пере-ливами красокъ заката и передавать читателю эти свои простыя, чело-вѣческія «чувства изящнаго», въ то время какъ въ XVIII-мъ вѣкѣ на ту же тему мы слышали только холодныя, напыщенныя восклицанія, въ родѣ:

Лицо свое скрываетъ день,  
Поля покрыла мрачна ночь

и т. п. Въ сентиментализмѣ передъ нами синтезъ всего въ единомъ чувствѣ, простое челоѣческое отношеніе ко всему окружающему; любовное отношеніе къ природѣ сквозитъ повсюду, вездѣ слышится чуткое пониманіе и умѣніе искренно наслаждаться «преlestной На-турой» (см. письма отъ 12 іюля; 2, 9, 14 авг.; 26 авг.—10 сент.; 8 ноября 1789 г. и др.). Карамзинъ не любитъ пышныхъ, «ложно-классическихъ» садовъ такъ называемаго ленотровскаго типа (Версаль), не любитъ искусственныхъ пригорковъ и каскадовъ, размѣренныхъ и подстриженныхъ аллей: «не ищите природы въ садахъ Версальскихъ», говоритъ онъ, признавая за этими садами «холодное великолѣпіе», и сейчасъ же восхищается «милымъ» садомъ Трианона, въ которомъ «нигдѣ нѣтъ холодной симметріи; вездѣ безпорядокъ, простота и красоты сельскія» (іюнь, 1790 г.). Для знакомства съ окружающей «На-

турой» Карамзинъ идетъ не въ Ботанической садъ (какъ это сдѣлаетъ впоследствии въ Капштадтѣ мѣщанинъ Гончаровъ), но уходитъ для этого изъ города: «въ шестомъ часу вышелъ я за городъ съ покойнымъ и веселымъ духомъ; бросился на траву бальзамическаго луга, наслаждался утромъ—и былъ щастливъ!» (письмо отъ 17 юля 1789 г.).

Во всемъ этомъ мы видимъ тѣ два характерныхъ признака сентиментализма, которые были отмѣчены нами выше: во-первыхъ, синтетичность и признаніе примата чувства, во-вторыхъ, выступленіе на первый планъ реальной личности. Последнее мы должны особенно подчеркнуть, ибо въ этомъ выставленіи впередъ человѣческой личности и заключается главная интересующая насъ сторона сентиментализма, его яркое и сильное «гуманическое» направленіе».

«Всѣ люди—братья». Это проповѣдуемое сентиментализмомъ положеніе выясняетъ, что связь между «Путешествіемъ» Радищева и «Бѣдной Лизой» Карамзина болѣе глубока, чѣмъ полагаютъ обыкновенно: признаніе человѣческаго достоинства въ каждомъ индивидуумѣ—вотъ связующее ихъ звено, вотъ основной принципъ сентиментализма. «...Познается, что самый забитый, послѣдній человѣкъ есть тоже человѣкъ, называется братъ мой»: этими словами Достоевскаго (по поводу сентиментальнаго произведенія его юности, «Бѣдныхъ людей») лучше всего характеризуется святое святыхъ и Радищева и Карамзина. То самое, что Радищевъ выводилъ изъ принциповъ естественнаго права, Карамзинъ переживалъ непосредственнымъ чувствомъ (не забудемъ однако, что и у Радищева «душа страданіями человѣчества уязвлена стала»); оба они близки къ величайшему требованію этики о самоцѣльности человѣческой личности. *Сентиментализмъ явился первой ступенью къ этическому индивидуализму*, и недаромъ величайшій этической индивидуалистъ русской (а быть можетъ и всемірной) литературы, Достоевскій, началъ свои первые шаги съ типично-сентиментальнаго произведенія (конечно, написаннаго уже въ реалистическихъ формахъ). Мы не хотимъ этимъ сказать, что Карамзинъ былъ хотя бы въ малѣйшей степени сознательнымъ этическимъ индивидуалистомъ: отъ принципа «всѣ люди—братья» до нормы «человѣкъ—самоцѣль»—дистанція огромнаго размѣра; вспомнимъ, что типичный общественникъ, Фонвизинъ, проповѣдуя всеобщее братство людей, въ то же время не задумываясь жертвовалъ одной частью государства для блага другой. У автора «Писемъ русскаго путешественника» и «Бѣдной Лизы» не было подобныхъ анти-индивидуалистическихъ тенденцій, но, конечно, не было и сколько-нибудь ясно выраженнаго этическаго индивидуализма; сентиментализмъ только по общему своему духу и направле-

нію является предтечей индивидуализма въ этикѣ. «Человѣкъ великъ духомъ своимъ» — говоритъ Карамзинъ («Переписка Мелодора и Филалета», 1795 г.), и это признаніе абсолютнаго значенія человѣческой личности, характерное для сентиментализма, сближаетъ его съ индивидуализмомъ, признающимъ за личностью суверенныя права на собственное «я». Во всякомъ случаѣ личность стояла для Карамзина впереди всего; правда, онъ заявляетъ, что «человѣкъ самъ по себѣ есть фрагментъ или отрывокъ: только съ подобными ему существами и съ природою составляетъ онъ цѣлое», но это показываетъ только, какъ далекъ былъ Карамзинъ отъ того наивнаго соціологическаго номинализма, въ которомъ до извѣстной степени былъ грѣшенъ рационалистическій XVIII-ый вѣкъ и который можетъ быть удѣломъ только самаго необузданнаго ультра-индивидуализма. Въ то же самое время Карамзинъ всегда ставилъ личность выше общества, выше народа, выше національности, «гуманическіе» принципы брали верхъ надъ всѣмъ: «все народное ничто передъ человѣческии.» — подчеркиваетъ онъ: — главное быть *людьми*, а не Славянами» (Письма русск. путеш.; мартъ, май 1790 г.).

Вотъ съ этой-то точки зрѣнія «Письма русскаго путешественника» дѣйствительно «произведеніе великое», ибо насквозь проникнутое «гуманическими» идеалами; сентиментализмъ есть теченіе дѣйствительно замѣчательное и имѣющее глубокое значеніе, ибо служащее первой ступенью къ этическому индивидуализму. Сентиментализмъ впервые подошелъ къ реальному человѣку отъ человѣка-интеграла, Человѣка съ большой буквы, и въ то же время былъ далекъ отъ того наивнаго эпикуреизма, съ какимъ относилась къ реальной личности поэзія Державина. Конечно, «реальная личность» сентиментализма очень часто является вполнѣ анти-реалистическимъ построеніемъ; такъ, напримѣръ, всѣ эти персонажи пасторальныхъ идиллій, всѣ эти пейзаже сентиментализма не имѣютъ въ себѣ ни единаго зерна реальной дѣйствительности. «Здравствуй, любезный пастушокъ! Куда гонишь ты стадо свое? и здѣсь растеть зеленая трава для овецъ твоихъ, и здѣсь алѣютъ цвѣты, изъ которыхъ можно сплести вѣнокъ для шляпы твоей...» («Бѣдная Лиза», 1792 г.); таковъ, по мнѣнію Карамзина, языкъ, которымъ ведутъ разговоры другъ съ другомъ добродѣтельные россійскіе пейзаже и пейзажки. Гдѣ же тутъ выставленіе впередъ «реальной личности?» Читатель самъ легко рѣшить такой вопросъ, если вспомнить значеніе этого условнаго термина: подъ реальной личностью мы понимаемъ отнюдь не реалистическій типъ, а индивидуальнаго человѣка, — человѣка, взятаго съ точки зрѣнія его личныхъ, непосред-



ственныхъ переживаній; въ сентиментализмъ же именно эти *непосредственныя переживанія индивидуума ставятся на первое мѣсто*, въ чемъ и состоитъ «гуманическая» тенденція этого направленія. Какая-нибудь бѣдная Лиза, конечно, не реальный типъ, но она трогаетъ и интересуется Карамзина только какъ реальная личность: ея личныя радости и горести, ея непосредственныя чувства, — вотъ чтò берется авторомъ во главу угла. И вотъ здѣсь-то заключается главная разница между сентиментализмомъ Карамзина и общественностью интеллигенціи XVIII-го вѣка.

Центромъ вниманія Радищева или Новикова былъ абстрактный человѣкъ, человѣкъ, какъ отвлеченіе правовыхъ (но не этическихъ) нормъ; реальная личность стояла для нихъ гдѣ-то на второмъ планѣ, въ тѣни. Такимъ образомъ еще въ XVIII-мъ вѣкѣ совершилось полудогматическое расчлененіе общества и личности въ міровоззрѣніи русской интеллигенціи; сентиментализмъ въ этомъ отношеніи былъ реакціей крайностямъ общественнаго теченія, но самъ впалъ въ противоположную крайность, и, выставляя на первый планъ реальную личность, совершенно обходилъ общество. *Сентиментализмъ не только совершилъ переходъ отъ абстрактнаго человѣка къ реальной личности, но и порвалъ всякія связи съ абстрактнымъ человѣкомъ.*

Было бы поспѣшнымъ заключать отсюда, что сентиментализмъ былъ теченіемъ реакціоннымъ: какъ разъ наоборотъ, въ тяжелый періодъ реакціи 1790—1801 гг., совпавшей съ расцвѣтомъ сентиментализма, послѣдній былъ въ литературѣ главной плотиною противъ реакціоннаго потока; вокругъ Карамзина собрались всѣ лучшія мольдыя силы новыхъ круговъ интеллигенціи; знаменитая «Ода къ Милости» Карамзина (1792 г.) была произведеніемъ смѣлымъ и рискованнымъ по тому времени. Положимъ, и время это было такое, что если бы Карамзинъ замолчалъ, то камни бы возопили. Во всякомъ случаѣ сентиментализмъ въ лучшую пору своей дѣятельности не былъ реакціоннымъ; зато надо указать, что девизомъ его всегда было постепенство и что мало-по-малу онъ переходилъ отъ него къ индифферентизму, квіетизму и теоріямъ самосовершенствованія. Карамзинъ не отрицаетъ, какъ мы видѣли, что самъ по себѣ человѣкъ есть только фрагментъ, что полнаго развитія онъ достигаетъ только въ обществѣ, но въ то же время онъ боязливо избѣгаетъ мысли о правахъ общества, о правахъ абстрактнаго человѣка. По его мнѣнію, «всякое гражданское общество, вѣками утвержденное, есть святыня для добрыхъ гражданъ; и въ самомъ несовершеннѣйшемъ надобно удивляться чудесной гармоніи, благоустройству, порядку»... Ти-

пичный постепеновець, Карамзинъ любитъ часто противопоставлять бурямъ революціи тихое «царство счастья», достигаемое посредствомъ «медленныхъ, но вѣрныхъ, безопасныхъ успѣховъ разума, просвѣщенія, воспитанія, добрыхъ нравовъ»... Отъ постепеновства онъ вполне послѣдовательно переходитъ къ теоріямъ самосовершенствованія и утверждаетъ, что «когда люди увѣрятся, что для собственнаго ихъ счастья добродѣтель необходима, тогда настанетъ вѣкъ златой, и во всякомъ правленіи человѣкъ насладится мирнымъ благополучіемъ жизни»... («Письма русск. пут.», апрѣль 1790 г. и др.). Не то ли же самое говорила Екатерина II устами Патрикеева Правдомыслова: «любезные сограждане! перестанемъ быти злыми»—и наступитъ вѣкъ златой?! Въ Карамзинѣ такое постепеновство несравненно законченнѣе и логичнѣе: бывшему масону, твердо впитавшему въ себя идею самосовершенствованія, вполне естественно быть постепеновцемъ, тѣмъ болѣе, что постепеновство и самосовершенствованіе логически связаны между собой. *Проповѣдью самоусовершенствованія, какъ панацеи соціальныхъ золъ, Карамзинъ толкнулъ сентиментализмъ на путь этико-соціологическаго номинализма и ультра-индивидуализма*, ибо только крайнее презрѣніе къ абстрактному человѣку и своеобразное идолопоклонство передъ реальной личностью могутъ привести къ мысли о возможности общественно-политической эволюціи путемъ усовершенствованія отдѣльныхъ индивидовъ. Но Карамзинъ пошелъ еще дальше этого: постепеновство и теорія самосовершенствованія привели его въ концѣ концовъ къ самому безнадежному квіетизму; онъ сталъ и въ прозѣ и въ стихахъ взывать къ добродѣтельнымъ читателямъ:

Не вымышляйте новыхъ бѣдъ:

Въ семь мірѣ совершенства нѣтъ.

Это его двустишіе можетъ быть взято эпитафіомъ къ главному труду его жизни, къ «Исторіи Государства Россійскаго»; цѣлью исторіи Карамзинъ ставитъ то, чтобы изученіе ея мирило насъ «съ несовершенствомъ видимаго порядка вещей, какъ съ обыкновеннымъ явленіемъ во всѣхъ вѣкахъ»... Останавливаться на этомъ намъ нѣтъ надобности: это уже вырожденіе сентиментализма; можно только вспомнить мимоходомъ великолѣпную отповѣдь Карамзину Н. Муравьева въ особой рукописной запискѣ (издана Погодинымъ), и ядовитое четверостишіе Пушкина на «Исторію Государства Россійскаго», которой «изящность» и «простота»

Доказываютъ намъ безъ всякаго пристрастья

Необходимость самовластья

И прелести кнута...

Здѣсь уже сентиментализмъ дѣлается и литературно и общественно реакціоннымъ теченіемъ и мало-по-малу уступаетъ первое мѣсто болѣе жизненнымъ направленіямъ, съ которыми мы вскорѣ познакомимся. Но прежде чѣмъ перейти къ этимъ новымъ теченіямъ, и прежде всего къ романтизму, мы остановимся еще на одной чрезвычайно важной сторонѣ сентиментализма—выяснимъ его отношеніе къ мѣщанству вообще и къ эпохѣ литературнаго мѣщанства въ частности.

*Сентиментализмъ впервые началъ сознательную борьбу съ литературнымъ мѣщанствомъ*—и въ этомъ еще одна его большая заслуга въ исторіи русской культуры. Ложно-классицизмъ былъ направленіемъ наиболѣе ненавистнымъ сентиментализму; они діаметрально противоположны по средствамъ, цѣлямъ, идеаламъ. Цѣль псевдо-классицизма—поразить, его средство—напыщенный драматизмъ, его идеаль—героическій; цѣль сентиментализма—тронуть, его средство—простота чувства, его идеаль—гуманической. Неудивительно поэтому, что у Карамзина мы встрѣчаемъ попытку низведенія псевдо-классической трагедіи съ ея пьедестала. «Я и теперь не перемѣнилъ мнѣнія своего о французской Мельпоменѣ,—пишетъ онъ изъ Парижа:—она благородна, величественна, прекрасна, но никогда не тронетъ, не потрясетъ сердца моего такъ, какъ муза Шекспирова»... Французскимъ трагедіямъ онъ удивляется «по большей части съ холоднымъ сердцемъ»... Соотечественники Вольтеровы не имѣютъ, быть можетъ, ни двухъ истинныхъ трагедій»—заявляетъ онъ, и тутъ же восхищается «Королемъ Лиромъ». Вообще по его мнѣнію французскія трагедіи, образцовыя по «искусству письма», должны по глубокому «чувству Натуры» уступить пальму первенства драмамъ Шекспира, трагедіямъ Лессинга и Шиллера и... «мѣщанскимъ драмамъ» «господина Коцебу, Ревельскаго жителя»... («Письма русск. пут.», 29 апр. 1790 г.; 2 іюля 1789 г. и др.). Курьезное сопоставленіе именъ, но совершенно вѣрное противопоставленіе фактовъ: пользуемся случаемъ подчеркнуть глубочайшее анти-мѣщанское значеніе такъ называемой «мѣщанской драмы», сентиментализма въ драматической формѣ. Одновременно съ нарушеннымъ равновѣсіемъ сословныхъ слоевъ въ эпоху великой французской революціи ложно-классическая трагедія была отодвинута на задній планъ «мѣщанской драмой», параллельно съ выступленіемъ буржуазіи, tiers-état, передъ высшимъ дворянствомъ, аристократіей. Поэтому несомнѣнно, что «*мѣщанская драма*» была *сословно-мѣщанской*, но настолько же несомнѣнно, что *въ то же время она была литературно анти-мѣщанской*: она была протестомъ противъ узкихъ,

заледенѣлыхъ формъ псевдо-классицизма. Мѣщанская драма, вскорѣ выродившаяся въ ультра-сентиментальную мелодраму, была и на Западѣ и въ Россіи однимъ изъ проявленій сентиментализма, объявившаго войну шаблонному литературному мѣщанству. Въ этой борьбѣ съ литературнымъ мѣщанствомъ сентиментализмъ былъ ярко-прогрессивнымъ направлениемъ; подѣ знаменемъ «борьбы съ мѣщанствомъ» соединилось все молодое, свѣжее, живое. Результаты этой борьбы учитываетъ исторія литературы: какъ извѣстно, псевдо-классицизмъ былъ разбитъ наголову и сентиментализмъ побѣдителемъ сталъ на развалинахъ мертваго и сухого литературнаго мѣщанства.

Сентиментализмъ былъ однако не только литературно, но и этически анти-мѣщанскимъ направлениемъ: это вполне послѣдовательно вытекало изъ его постоянной вражды къ регламентации, къ холодной напыщенности, къ размѣренности и шаблону. Характерный примѣръ: мы уже видѣли, какъ равнодушно проходитъ Карамзинъ мимо «холоднаго великолѣпія» версальскихъ садовъ и какъ онъ цѣнить «милый» садъ Трианона за его близость къ жизненной правдѣ; вообще, по мнѣнію Карамзина, мѣщанскія, ложно-классическія «французскія румяны человѣку съ естественнымъ вкусомъ не могутъ быть пріятны»... («Письма русск. пут.», отъ 2 іюля 1789 г.). Обобщая это и на нравственный міръ человѣка, мы должны будемъ признать, что и въ этой области сентиментализмъ явился въ высокой степени анти-мѣщанскимъ; для насъ особенно интересно то, что самъ Карамзинъ въ одномъ изъ своихъ небольшихъ очерковъ противопоставилъ сентиментализмъ мѣщанству (конечно, не пользуясь такой терминологіей).

Въ очеркѣ «Чувствительный и холодный» (1803 г.) мы имѣемъ передъ собой двухъ друзей: Эрастъ—представитель сентиментализма, съ нѣкоторой примѣсью зарождающагося романтизма; Леонидъ—яркій типъ мѣщанина, впервые появляющагося съ такой опредѣленностью въ русской литературѣ. У Эраста—«чувствительное сердце» и въ то же время «небольшой примѣсъ безразсудности», а также и вѣчная неудовлетворенность; въ Леонидѣ мы находимъ всѣ главныя черты этического мѣщанства, распустившіяся впоследствии такимъ пышнымъ цвѣтомъ у вѣрныхъ сыновъ эпохи официальнаго и эпохи общественнаго мѣщанства (мы говоримъ о пятидесятыхъ и восьмидесятыхъ годахъ XIX-го вѣка). Основное свойство Леонида—«благоразуміе»; основное его желаніе—быть какъ всѣ; на его мнѣніяхъ должно лежать клеймо общественнаго одобренія; на его требованіяхъ къ жизни видна вся его обыденная трафаретность. Свои мысли Леонидъ выражаетъ чаще всего шаблонными афоризмами, представляющими изъ

себя *plus ultra* мѣщанской истины. Напримѣръ: «служба есть у насъ вѣрнѣйшій путь къ уваженію, а чины—ходячая монета»... «Всего вѣрнѣе идти въ свѣтѣ большою дорогою и запасаться такими деньгами, которыя вездѣ принимаются»... «Не презирай нижнихъ ступеней лѣстницы: онѣ ведутъ къ верхней»... «Никакіе таланты не возвысятъ человѣка въ государствѣ безъ угожденія людямъ» и т. п.... И онъ всегда и во всемъ вѣренъ въ своей мѣщанской философіи: тянетъ чиновничью ляжку, ибо знаетъ, что «благоразумному человѣку надобно въ жизни заниматься дѣломъ» (вѣдь «надо дѣло дѣлать»—излюбленный кличъ мѣщанства, начиная съ Леонида, проходя черезъ Штольца и Соломина, кончая профессоромъ изъ чеховскаго «Дяди Вани»). Какъ истый мѣщанинъ, Леонидъ «не ищетъ удовольствій, но избѣгаетъ огорченій; ему не страданіе казалось наслажденіемъ, а равнодушіе талисманомъ мудрости». Какъ истинный мѣщанинъ, Леонидъ типичный и крайній эгоистъ (подъ эгоизмомъ мы понимаемъ ту этическую систему, девизомъ которой является признаніе человѣка средствомъ, а самого себя—цѣлью; нечего и доказывать, что такимъ образомъ *эгоизмъ есть полная противоположность этическому индивидуализму*, принципомъ котораго является «человѣкъ-самоцѣль»). Леонидъ твердо увѣренъ, что «человѣкъ созданъ думать сперва о себѣ, а тамъ о другихъ; иначе нельзя стоять свѣту», что «все для человѣка, а человѣкъ только для самого себя»... Вся его жизнь—проведеніе въ дѣло всѣхъ этихъ мѣщанскихъ принциповъ, убѣжденій и истинъ; даже женится онъ для того, «чтобы избавить себя отъ хозяйственныхъ заботъ. Женщина нужна для порядка въ домѣ»...

Съ такой удивительной для своего времени полнотой обрисовываетъ Карамзинъ типичнаго мѣщанина, предтечу грядущаго этического мѣщанства среди русской интеллигенціи. Въ чью сторону склонялись симпатіи родоначальника русскаго сентиментализма, въ сторону «чувствительнаго» сентименталиста или «холоднаго» мѣщанина—это ясно безъ словъ; интересна та язвительность, съ которой Карамзинъ отнесся къ Леониду подъ видомъ самаго почтительнаго къ нему отношенія, и только въ трехъ-четырехъ строкахъ отъ лица автора вскрывается его отрицательное отношеніе къ благоразумному мѣщанину: «равнодушные люди—говоритъ Карамзинъ—бываютъ во всемъ благоразумнѣе, живутъ смиреннѣе въ свѣтѣ, менѣе дѣлаютъ бѣдъ и рѣже разстраиваютъ гармонію общества, но одни чувствительные приносятъ великія жертвы добродѣтели, удивляютъ свѣтъ великими дѣлами»<sup>1)</sup>).

<sup>1)</sup> Интересно отмѣтить, что фраза эта является почти дословнымъ переводомъ одного мѣста изъ «Антропологіи» Канта.

Итакъ, этическое мѣщанство настолько же отталкивало Карамзина, насколько притягивало его этической индивидуализмъ; въ борьбѣ съ первымъ и въ приближеніи ко второму онъ сдѣлалъ только первые шаги, но и эти робкіе первые шаги были для того времени громаднымъ шагомъ впередъ. Индивидуализмъ проявился у него въ формѣ гуманизма, мѣщанство было имъ осуждено за свое размѣренное, холодное благоразуміе. Чувствовалъ ли Карамзинъ всю гнетущую тягость *обыденности* мѣщанства, что въ послѣдствіи такъ сильно сказалось въ западно-европейскомъ романтизмѣ? Едва ли. Правда, вліяніе «господина Жанъ-Жака Руссо», разбавленнаго Стерномъ и Ричардсономъ, отразилось на отрицательномъ отношеніи сентиментализма къ цивилизаціи, къ культурѣ въ ея современныхъ формахъ; но это отрицательное отношеніе было чисто-платоническимъ. «Я съ радостію отказался бы отъ многихъ удобностей жизни (которыми обязаны мы просвѣщенію дней нашихъ), чтобы возвратиться въ первобытное состояніе человѣка... Теперь жилище и одежда наша покойнѣе: но покойнѣе ли сердце? Ахъ, нѣтъ!..» Такъ восклицаетъ Карамзинъ и по видимому искренне. Однако стоитъ только вмѣсто златого вѣка, «когда всѣ люди были пастухами и братьями» (интересно, что къ этой фразѣ самъ Карамзинъ дѣлаетъ скептическое примѣчаніе: «когда же?»), стоитъ только, говоримъ мы, поставить передъ нашимъ сентименталистомъ нѣчто болѣе реальное, чтобы заставить его немедленно ухватиться за всѣ блага современной культуры и отрещиваться отъ прелестей первобытнаго состоянія. «Мы не таковы, какъ брадатые предки наши,—заявляетъ съ полной искренностью Карамзинъ:—тѣмъ лучше! Грубость наружная и внутренняя, невѣжество, праздность, скука были ихъ долею въ самомъ высшемъ состояніи»... («Письма русск. пут.», авг.—сент. 1789 г., май 1790 г.). Сентиментализмъ платонически вздыхалъ о златомъ вѣкѣ, но легко мирился со всѣми недостатками мѣщанскихъ формъ современной культуры; *обыденность* мѣщанства не тяготила его. Онъ боролся съ мѣщанствомъ только какъ съ узкими литературными формами, только какъ съ сухимъ благоразуміемъ жизни; онъ боролся за индивидуализмъ только какъ за гуманизмъ, его всегда интересовало «человѣческое, слишкомъ человѣческое», ибо, по словамъ Карамзина, «что человѣку занимательнѣе самого себя?» (*ibid.*, сент. 1790 г.). Дальше этого сентиментализмъ не пошелъ, но и этихъ заслугъ его достаточно, чтобы признать его значеніе громаднымъ не только въ исторіи русской литературы, но и въ исторіи русской культуры, въ исторіи эволюціи русской интеллигенціи.

Дальнѣйшее развитіе сентиментализма является уже его разло-

женіемъ. Слабыя стороны сентиментализма, отмѣченныя нами еще у Карамзина, достигаютъ уродливыхъ размѣровъ у ультра-сентименталистовъ и являются главнымъ содержаніемъ ихъ произведеній. Слезоточивая чувствительность разныхъ Шаликовыхъ, которые только и заняты тѣмъ, что безпричинно льютъ сладчайшія слезы, «съ тихой меланхоліей пьютъ въ вечернемъ воздухѣ спасительныя струи Леты» и «говорятъ „прости“ миловидному (!) солнцу»—заполняетъ собою всю русскую литературу перваго десятилѣтія XIX-го вѣка (Шаликовъ «Путешествіе въ Малороссію», 1803 г.); ультра-сентиментализмъ вырабатываетъ себѣ трафаретныя формы и становится шаблоннымъ по содержанію. Такимъ образомъ *выродившійся сентиментализмъ обратился въ литературно-этическое мѣщанство*. Въ эту эпоху зарождается въ русской литературѣ непосредственный преемникъ сентиментализма въ борьбѣ за индивидуализмъ и противъ мѣщанства; мы говоримъ про то направленіе, которое обыкновенно носитъ названіе романтизма. Съ этимъ русскимъ романтизмомъ намъ теперь и предстоитъ познакомиться. X

«Всѣ имѣютъ у насъ самое темное понятіе о романтизмѣ»—писалъ Пушкинъ еще въ 1825 г.; съ тѣхъ поръ много говорили, писали, спорили о романтизмѣ, да только возъ и нынѣ тамъ. Правда, установилось общепринятое, шаблонное мнѣніе о сущности романтизма, какъ о реакціи псевдо-классическому направленію, отрицаніи всякихъ эстетическихъ теорій, стремленіи къ среднимъ вѣкамъ. Съ такимъ примитивнымъ пониманіемъ романтизма боролся еще Бѣлинскій, и Бѣлинскій же впервые въ русской литературѣ далъ глубокое опредѣленіе этого понятія, указавъ, что сущность романтизма заключается не въ особенностяхъ его формы, а въ его идеѣ, что источникъ романтизма не въ поэзіи, а въ жизни. «Жизнь тамъ, гдѣ человѣкъ, а гдѣ человѣкъ, тамъ и романтизмъ. Въ тѣснѣйшемъ и существеннѣйшемъ своемъ значеніи романтизмъ есть не что иное, какъ внутренній міръ души человѣка, сокровенная жизнь его сердца... Преобладающій элементъ романтизма есть вѣчное и неопредѣленное стремленіе, неуничтожаемое никакимъ удовлетвореніемъ. Источникъ романтизма... есть таинственная внутренность груди, мистическая сущность бьющагося кровью сердца»... Съ этой точки зрѣнія романтическое теченіе конца XVIII-го и начала XIX-го вѣка есть лишь только частный случай того романтизма, который является вѣчнымъ свойствомъ человѣческаго духа и проявителями котораго были, по вѣрному замѣчанію Бѣлинскаго, и средніе вѣка, и Платонъ, и таинства Элевзиса...

Мнѣніе Бѣлинскаго осталось одинокимъ въ нашей литературѣ,

но тѣмъ не менѣе мы имѣемъ смѣлость къ нему вернуться. Скажемъ объ этомъ нѣсколько словъ, такъ какъ намъ необходимо выяснитъ наше пониманіе романтизма, поскольку это имѣетъ отношеніе къ нашей главной темѣ.

Подъ романтизмомъ мы понимаемъ общее и вѣчное свойство человеческого духа, стремленіе нарушить тѣ границы, которыми сдвигаютъ его реальный міръ, непосредственное воспріятіе и сознаніе, раціонализмъ мысли, воли и чувства. Подъ романтизмомъ мы понимаемъ постоянное стремленіе проникнуть въ новый, невѣдомый міръ, отбросить все «человѣческое слишкомъ человѣческое», изъ міра третьяго измѣренія перейти въ міръ измѣренія четвертаго, отъ понятности перейти къ таинственности, отъ закономерности къ чуду. И такое стремленіе, какъ это чутко отмѣтилъ Бѣлинскій, не уничтожимо никакимъ удовлетвореніемъ, ибо нѣтъ тѣхъ предѣловъ, которые романтизмъ согласился бы признать непереступаемыми. Выражаясь словами современнаго поэта, мы скажемъ, что романтизмъ—вѣчное стремленіе и проникновеніе

За предѣлы предѣльнаго,  
Къ безднамъ свѣтлой безбрежности...

Стремленіе и проникновеніе: одно стремленіе «за предѣлы предѣльнаго» не характеризуетъ еще собою романтизма, ибо безсильное стремленіе часто обращалось въ слезливо-сентиментальную ламентацию о невозможности достиженія «свѣтлой безбрежности», въ чемъ отнюдь не было сути романтизма.

Стремленіе и проникновеніе «за предѣлы предѣльнаго»—вотъ романтизмъ. Стремленіе это въ области мысли, воли и чувства позволяетъ намъ говорить о романтизмѣ логическомъ, романтизмѣ этическомъ, романтизмѣ эстетическомъ (въ узкомъ смыслѣ), какъ о главныхъ возможныхъ романтическихъ воззрѣніяхъ; въ области религиозныхъ переживаній мы можемъ говорить о религиозномъ романтизмѣ, которымъ очевидно является мистицизмъ. Мистицизмъ есть религиозный романтизмъ, романтизмъ въ области религіи; Бѣлинскій въ свое время чутко замѣтилъ и эту связь; «въ основѣ всякаго романтизма непремѣнно лежитъ мистицизмъ», подчеркиваетъ онъ. Характеризуя связь между романтизмомъ и мистицизмомъ, мы можемъ выставить общее положеніе: религиозное сознаніе романтика неизбѣжно должно быть мистичнымъ, и, mutatis mutandis, міровоззрѣніемъ мистика неизбѣжно долженъ быть романтизмъ.

Возвратимся однако къ отмѣченному выше тремъ главнымъ воз-



можнымъ романтическимъ воззрѣніямъ. Романтизмъ мысли, романтизмъ логическій, въ своемъ стремленіи «за предѣлы предѣльнаго» несомнѣнно долженъ быть ирраціоналистичнымъ; кромѣ того онъ будетъ пытаться прорвать заколдованный кругъ законѣрной реальности проникновеніемъ въ ту область полу-мистической фантастики, гдѣ эмпирическая дѣйствительность растворится въ причудливыхъ образахъ и фантасмагорическихъ видѣніяхъ. Романтизмъ воли, романтизмъ этический, въ своемъ стремленіи «за предѣлы предѣльнаго» устремится по ту сторону добра и зла, или во всякомъ случаѣ дастъ намъ романтическіе облики людей

...великихъ силъ и мыслей,  
Добру и злу незнающихъ границъ...

Мощный титанизмъ—вотъ вѣчный спутникъ этического романтизма, его главное и неизбѣжное проявленіе; нечего и прибавлять, что и въ области этического романтизма царствуетъ ирраціонализмъ, что рационализмъ въ этикѣ есть *contradictio in adjecto* для романтика. Наконецъ, романтизмъ чувства, романтизмъ эстетическій (въ узкомъ значеніи этого слова) въ своемъ стремленіи «за предѣлы предѣльнаго» перейдетъ всѣ границы человѣческаго чувства, дастъ невиданную по силѣ его изощренность (а можетъ быть и извращенность). «Любовь—по преимуществу романтическое чувство», совершенно вѣрно замѣчаетъ Бѣлинскій; чаще всего именно это чувство, исключительность страсти, не подчиняющаяся никакимъ доводамъ разсудка, исключительность выраженія этой страсти и т. п.—должно служить главной темой эстетическаго романтизма.

Конечно, это только схема; въ реальной человѣческой личности всѣ разнообразнѣйшія черты эстетическаго, этического, логическаго, религіознаго романтизма могутъ быть соединены въ единое, неразрывное цѣлое, могутъ прихотливо переплетаться, сочетаться такъ или иначе. Однако наше раздѣленіе, какъ схема, имѣетъ несомнѣнно и реальное значеніе, ибо не трудно доказать, что могутъ быть, и дѣйствительно были, и отдѣльныя лица, и цѣлыя литературныя направленія, романтизмъ которыхъ по своимъ главнымъ характернымъ признакамъ подходилъ именно подъ одинъ изъ трехъ указанныхъ нами выше. (О романтизмѣ религіозномъ не говоримъ, такъ какъ онъ стоитъ не рядомъ съ логическимъ, этическимъ и эстетическимъ, а надъ ними). Для доказательства не будемъ обращаться къ сѣдой древности, хотя и тамъ мы могли бы, слѣдующъ примѣру Бѣлинскаго, отыскать всѣ три рода романтизма, указанные нами выше;

обратимся лучше къ романтическому теченію конца XVIII-го и начала XIX-го вѣка, тѣмъ болѣе, что это приведетъ насъ къ главной цѣли— къ русскому романтизму разбираемой нами эпохи.

Общеизвѣстно и общепризнано подраздѣленіе европейскаго романтизма XIX-го столѣтія на нѣмецкій, англійскій и французскій. Конечно, и такое подраздѣленіе также условно и схематично, но въ то же самое время слишкомъ очевидна его реальная подоплека; очевидно, что дѣленіе это произведено не на основаніи однихъ географическихъ и этнографическихъ различій, а по причинѣ нѣкотораго глубокаго отличія по существу романтизма нѣмецкаго отъ англійскаго и французскаго. Различіе это, по нашему мнѣнію, и заключается именно въ томъ, что нѣмецкій романтизмъ есть романтизмъ по преимуществу логическій, англійскій романтизмъ—главнымъ образомъ этический, и романтизмъ французскій—прежде всего эстетическій романтизмъ; иначе говоря, главнымъ свойствомъ нѣмецкаго романтизма мы считаемъ фантастику, англійскаго—титанизмъ, французскаго—исключительность страстей. Фантастика балладъ—характерная черта именно нѣмецкаго романтизма; величайшимъ нѣмецкимъ романтикомъ былъ, конечно, Гофманъ, фантастика котораго растворяетъ дѣйствительность въ причудливомъ кружевѣ образовъ, картинъ, поступковъ, лицъ четвертаго измѣренія, появившихся изъ-за «предѣловъ предѣльнаго». Въ такой же точно степени титанизмъ—характерная черта романтизма англійскаго, сказавшаяся въ величайшемъ англійскомъ романтикѣ—Байронѣ, а исключительность страстей (въ равной мѣрѣ и атрибутовъ и объектовъ ихъ)—главная черта французскаго романтизма, въ лицѣ его главнаго представителя—Гюго. Изъ всего этого, конечно, вовсе не слѣдуетъ, чтобы каждый нѣмецкій романтикъ принадлежалъ непременно къ нѣмецкому романтизму, а англичанинъ и французъ—къ романтизму англійскому и французскому: нѣмецкій полу-романтикъ Гете могъ проговориться своимъ титаническимъ Прометеемъ, а англо-саксъ Эдгаръ По во многихъ своихъ рассказахъ по силѣ фантастики приближается къ Гофману, но это нисколько не опровергаетъ общаго характера англійскаго и нѣмецкаго романтизма. Направленія опредѣляются прежде всего крупными именами и постоянствомъ стремленія къ цѣли: англійскій романтизмъ всегда будетъ тѣсно связанъ съ именемъ Байрона и съ его вѣчнымъ стремленіемъ къ силѣ; на этомъ основаніи мы и называемъ титанизмъ основной чертой англійскаго романтизма.

Еще нѣсколько словъ о романтизмѣ—и мы перейдемъ отъ отвлеченныхъ разсужденій къ нашей россійской дѣйствительности на-

чала XIX-го вѣка. Намъ осталось сказать объ одномъ глубоко-важномъ слѣдствіи, вытекающемъ изъ основного стремленія романтизма «за предѣлы предѣльнаго»; это слѣдствіе — *разрывъ съ обыденностью*, и притомъ разрывъ съ обыденностью въ двоякомъ смыслѣ. Прежде всего стремленіе «за предѣлы предѣльнаго» есть само по себѣ удаление отъ всего обыденнаго въ смыслѣ окружающаго насъ эмпирически-реальнаго міра; въ этомъ смыслѣ романтизмъ по справедливости можетъ быть противопоставленъ реализму (мы говоримъ въ данномъ случаѣ о романтизмѣ и реализмѣ, какъ о системахъ міровоззрѣній, а не только какъ о литературныхъ направленіяхъ). Но кромѣ того романтизмъ порываетъ и съ той житейской обыденностью, въ которой заключается знакомое намъ этическое мѣщанство; стоитъ вспомнить отношеніе Гофмана къ филистерству, чтобы убѣдиться, какъ далеко зашелъ въ своей ненависти по этому направленію романтизмъ. Разрывая съ обыденностью, романтизмъ не уставалъ высказывать свое презрѣніе къ мѣщанскому укладу современной культуры — и, быть можетъ, въ этомъ одна изъ причинъ тяготѣнія романтизма къ среднимъ вѣкамъ; разрывая съ обыденностью, романтизмъ, конечно, прежде всего порвалъ съ обыденностью литературной, проповѣдовалъ свободу формы и объявлялъ войну всякимъ теоріямъ. (Какъ видимъ отсюда, борьба романтизма съ псевдо-классицизмомъ есть только второстепенный результатъ, а никакъ не самая суть романтизма). Наконецъ, разрывая съ обыденностью, романтизмъ неизбѣжно долженъ былъ порвать съ обыденностью общественно-политической, а потому *во конечномъ счетѣ* романтизмъ неизбѣжно долженъ былъ сдѣлаться революціоннымъ. Принято обычно считать (ссылаясь на имена Шатобріана, Новалиса и др.), что романтизмъ былъ политически реакціоннымъ теченіемъ; если въ этомъ и есть доля правды по отношенію къ отдѣльнымъ именамъ, то это совершенно невѣрно по отношенію къ романтизму какъ направленію, къ тому романтизму, о которомъ у насъ все время шла рѣчь выше. Романтизмъ — революціонное теченіе не только въ литературѣ, но и въ общественной жизни; если при своемъ возникновеніи въ XIX вѣкѣ онъ и былъ реакціоннымъ *вслѣдствіе случайныхъ общественно-политическихъ комбинацій*, то реакціонность эта, пройдя черезъ фазу политическаго индифферентизма, вскорѣ обратилась въ либерализмъ и въ крайне революціонное теченіе. Отъ Гофмана черезъ Байрона къ Гюго мы имѣемъ въ этомъ случаѣ характерную и въ высокой степени знаменательную эволюцію.

Говорить о русскомъ романтизмѣ, не выяснивъ своего отноше-

нія къ романтизму вообще, было невозможно; теперь, послѣ этого небольшого отступленія, мы снова возвращаемся къ російской дѣйствительности начала XIX-го вѣка. Мы остановились на разложеніи сентиментализма, на его превращеніи въ ультра-сентиментализмъ и литературно-этическое мѣщанство; посмотримъ, что принесъ съ собою пришедшій ему на смѣну русскій романтизмъ въ лицѣ Жуковскаго, затѣмъ Пушкина, позднѣе Лермонтова, а также романтиковъ въ родѣ Бестужева-Марлинскаго.

*Русскій романтизмъ былъ псевдо-романтизмомъ* или, иными словами — въ Россіи не было романтизма, того романтизма, о которомъ у насъ все время шла рѣчь выше. Мы въ этомъ скоро убѣдимся. Мы увидимъ, что въ Россіи былъ нѣмецкій псевдо-романтизмъ (Жуковскій), былъ псевдо-романтизмъ англійскій (Пушкинъ), французскій (Бестужевъ-Марлинскій), но что все это было только мало-удачнымъ подражаніемъ; мы увидимъ, что въ Россіи не было романтизма, потому что не было проникновенія «за предѣлы предѣльнаго»...

Жуковскій былъ главнымъ представителемъ нѣмецкаго романтизма на русской почвѣ и непосредственнымъ наслѣдникомъ сентиментализма Карамзина. Связь между Карамзинымъ и Жуковскимъ была отмѣчена въ свое время еще Бѣлинскимъ, и теперь все болѣе и болѣе склоняются къ тому мнѣнію послѣдняго, которое выражено имъ въ слѣдующихъ словахъ: «Жуковскій ввелъ литературный мистицизмъ, который въ самомъ дѣлѣ былъ не что иное, какъ нѣсколько возвышенный, улучшенный и подновленный сентиментализмъ»... Мы вполне выяснимъ наше отношеніе къ поэзіи Жуковскаго, если назовемъ ее *сентиментальнымъ псевдо-романтизмомъ*.

Жуковскій вступилъ въ литературу въ разгаръ славы Карамзина и въ апогей расцвѣта сентиментализма. Неудивительно поэтому, что въ 1803 г. онъ еще былъ въ восторгѣ отъ Шаликова, а въ 1809 г. написалъ слабое подражаніе «Бѣдной Лизѣ»; гораздо удивительнѣе то, что въ то время, когда русская литература имѣла уже элегіи и стансы Пушкина, имѣла такія вещи, какъ «Борисъ Годуновъ» и «Евгеній Онѣгинъ» — Жуковскій все еще продолжалъ сентиментальничать на мотивъ «стонеть сизый голубочекъ», воспѣвая, какъ умирающій лебедь

Тихо съ жизнію прощался  
И при смерти сладко пѣлъ;  
И надъ нимъ сидѣлъ уныло  
Голубчикъ сизокрылой.

(«Умирающей лебедь», 1828 г.). Эта «меланхолия» Жуковского вся вышла изъ нѣдръ сентиментализма, и только по какому-то странному недоразумѣнію считаютъ ее однимъ изъ свойствъ романтизма. Элегизмъ по самому своему существу связанъ съ сентиментализмомъ, а къ романтизму можетъ быть пришить только бѣлыми нитками. Правда, романтизмъ есть никогда неудовлетворяемое стремленіе и проникновеніе за «предѣлы предѣльнаго», но мы уже указывали, что безсильное стремленіе, обращающееся въ слезливую ламентацию, не есть романтизмъ. Стремленіе это было у Жуковского:

Сердце мукой безъимянной  
 Все проникнуто насквозь,  
 И меня отсель куда-то  
 Все зоветъ какой-то гласъ...

(«Тоска», 1828 г.). Но для романтизма одного стремленія мало; должно быть и проникновеніе. Было ли оно у Жуковского?

Проникнуть за «предѣлы предѣльнаго» онъ пытался прежде всего въ логическомъ романтизмѣ, а затѣмъ и въ романтизмѣ религіозномъ, но и тутъ и тамъ одинаково безуспѣшно. Онъ добросовѣстно подражалъ всей той фантастикѣ, которую находилъ у различныхъ представителей нѣмецкаго романтизма, но фантастика эта оказывалась у Жуковского до смѣшного не фантастической; проникнуть «за предѣлы предѣльнаго» онъ оказался вполне безсильнымъ. Онъ тщательно пытается быть таинственнымъ, и чувствуя свое безсиліе въ этомъ, нагромождаетъ въ своихъ балладахъ всякіе чудеса и ужасы одни на другіе. Еще въ первой своей балладѣ «Людмила» (1808 г.), переведенной изъ Бюргера, онъ уже пытается пустить свой романтизмъ что называется «во-всю», а потому въ то время какъ у Бюргера надъ мертвой Ленорой только рѣветъ толпа воздушныхъ тѣней, у Жуковского — нагроможденіе всяческихъ ужасовъ:

Стонъ и вопли въ облакахъ,  
 Визгъ и скрежетъ подъ землею...  
 Вдругъ усопшіе толпою  
 Потянулись изъ могиль;  
 Тихій страшный хоръ завылъ...

И въ каждой балладѣ Жуковского мы встрѣтимся со всѣми этими атрибутами чертовщины: тутъ и «дикій вой совы», и завыванія колокола; тутъ фигурируетъ и «черный вранъ» («вранъ» — это болѣе ужасно, чѣмъ «воронъ»...), тутъ и гробница, и трупъ, и самъ

дьяволъ собственной персоной; то у него «трупъ завылъ», то «мрач-  
ный бѣсъ ужасно взвылъ и улетѣлъ», то «въ полночь къ могилѣ  
ужасный ѣздокъ прискакалъ» (и это даже въ балладахъ 1831—2 гг.).  
Конечно, въ высокой степени наивно критиковать всѣ такія мѣста  
съ рационалистической точки зрѣнія, какъ это дѣлаетъ Бѣлинскій,  
безсознательно вскрывающій, впрочемъ, всю неубѣдительность и про-  
заичность реалистической фантастики нашего сентиментальнаго ро-  
мантика, для насъ эти мѣста являются глубоко интересными, воочію  
убѣждая читателей въ полномъ безсиліи фантастики Жуковскаго.  
Всѣ эти воюющіе трупы и бѣсы облечены въ плоть и кости; вмѣсто  
таинственной, полумистической фантастики, передъ нами все земное,  
подчиняющееся законамъ тяготѣнія и не выступающее за предѣлы  
третьяго измѣренія. Вмѣсто таинственной фантастики Жуковскій  
усердно уснащаетъ свои произведенія всѣми ужасами, страшными для  
маленькихъ дѣтей; отсюда до романтизма какъ до звѣзды небесной  
далеко.

Религіозный романтизмъ Жуковскаго въ такой же степени  
является псевдо-романтизмомъ. Религіозный романтизмъ есть мисти-  
цизмъ, Жуковскій же никогда не былъ мистикомъ; только при по-  
верхностномъ знакомствѣ съ Жуковскимъ можетъ показаться, что  
онъ стремился и проникалъ «за предѣлы предѣльнаго» въ области  
религіи; не надо забывать, что не всякая религіозность, а только ми-  
стическая является романтизмомъ. Конечно, религіозность Жуковскаго  
не подлежитъ сомнѣнію, съ перваго произведенія Жуковскаго («Мысли  
при гробницѣ», 1797 г.) и до самаго послѣдняго («Розы» 1852 г.)  
всюду мы находимъ религіозность, тѣсно связанную съ элегизмомъ,  
съ «меланхоліей», ибо

...скорбь о погибшемъ не есть ли, Эсхинъ,  
Обѣтъ неизмѣнной надежды,  
Что *идь-то въ знакомой, но тайной* странѣ  
Погибшее намъ возвратится?...

Религіозное созерцаніе поэта направлено не «за предѣлы предѣльнаго»,  
но, наоборотъ, оно переноситъ за эти предѣлы нашу земную пре-  
дѣльную точку зрѣнія, философію третьяго измѣренія: «за предѣлами  
предѣльнаго» Жуковскій ожидаетъ найти *знакомую* страну, хотя и  
«тайную», прибавляетъ онъ. Но мы теперь уже знакомы съ «таин-  
ственностью» въ пониманіи Жуковскаго и знаемъ, что онъ эту «тай-  
ную» страну вполнѣ отчетливо рисовалъ себѣ въ земныхъ «предѣль-  
ныхъ» образахъ и краскахъ. Жуковскій былъ религіозенъ, но эта

его религиозность не мистицизмъ, а піетизмъ, и притомъ піетизмъ рѣзко рационалистическаго характера. Ясно и просто смотритъ нашъ сентиментальный псевдо-романтикъ на міръ, на человѣка; ни въ смерти, ни въ жизни не видитъ онъ той тайны, которую чувствуетъ за ними мистицизмъ. «Жизнь — это просто странствіе по свѣту, ...во исполненіе верховной воли высшаго царя»; смерть—еще проще и понятнѣе, это новая жизнь «гдѣ-то въ знакомой, но тайной странѣ», гдѣ вернется къ поэту погибшее любимое существо. Мистическая тайна не нужна и даже вредна:

... съ упованьемъ,  
Смертный, жди—не испытуй!

(«Мечта», 1831 г.); но зато не мѣшаетъ и даже полезно предаваться лирическимъ ламентациямъ о тщетѣ всего земного; это возвышаетъ душу къ небесному... Вообще въ своемъ примитивномъ христіанствѣ Жуковскій былъ типичнымъ представителемъ протестантизма, съ его подмѣной мистицизма рационалистическимъ піетизмомъ; для характеристики этого піетизма Жуковскаго достаточно познакомиться съ его «Христіанской философій» (1850 г.). Еще ярче въ этомъ отношеніи его омерзительно-филистерскій проектъ «О смертной казни» (1850 г.), который мы и напомнимъ читателю для характеристики піетизма вообще.

У Достоевскаго въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» есть одно интересное мѣсто о казни раскаявшагося убійцы Ришара. Ришаръ раскаялся, увѣровалъ, на него снизошла благодать; пасторы, судьи и благотворительныя дамы въ восторгѣ цѣлуютъ его, кормятъ конфетами и дарятъ цвѣтами—но по божеской и человѣческой справедливости все-таки нужно казнить убійцу... «Вотъ достигли эшафота: «умри, братъ нашъ,—кричатъ Ришару,—умри во Господѣ, ибо и на тебя сошла благодать!» И вотъ, покрытаго поцѣлуями братьевъ, брата Ришара втащили на эшафотъ, положили на гильотину и оттапали-таки ему, по-братски, голову за то, что и на него сошла благодать»... Достоевскій совершенно вѣрно замѣчаетъ, что поступокъ подобнаго рода свойствененъ исключительно протестантизму. Весь этотъ эпизодъ съ «братомъ Ришаромъ» невольно вспоминается при знакомствѣ съ ханжески-піетическимъ проектомъ Жуковскаго. Онъ желаетъ, чтобы смертная казнь «была не однимъ актомъ правосудія гражданскаго, но и актомъ любви христіанской (!)», чтобы она имѣла «образъ величественный, глубоко трогаящій и ужасающій душу», чтобы при совершеніи казни «всякій глубоко понималъ, что здѣсь происходитъ

нѣчто принадлежащее къ высшему разряду, а не варварскій убой чело-вѣка», чтобы казнь, «уничтожая преступника, врага гражданъ, возбуждала состраданіе къ судьбѣ его въ сердцахъ его братьевъ, чтобы его земная погибель была общимъ горемъ»... Однимъ словомъ—«умри во Господѣ, братъ нашъ Ришаръ»... Но это еще не все. Последніе дни преступника должны быть освящены религіей; «на пути отъ церкви къ мѣсту казни онъ будетъ провожаемъ пѣніемъ, выражающимъ молитву о душѣ его»... При соблюденіи всего этого церемоніала смертная казнь будетъ возбуждать «всѣ высокія чувства души чело-вѣческой: вѣру, благоговѣніе передъ правдой, состраданіе, любовь христіанскую (!)», а преступнику въ то же самое время оттяпаютъ-таки по-братски-голову...

Намъ кажется, что этимъ исчерпанъ вопросъ о романтизмѣ Жуковскаго. Романтизмъ въ религіи — мистиченъ, псевдо-романтизмъ Жуковскаго — піетиченъ, а ирраціоналистическій мистицизмъ и раціо-налистическій піетизмъ во всемъ діаметрально-противоположны другъ другу; далѣе, романтика мысли характеризуется фантастичностью таинственнаго оттѣнка, фантастика же «поэтическаго дядьки чертей и вѣдьмъ въ нашей литературѣ» была постоянно въ высшей степени прозаической и реальной, стремящейся только подавить читателя на-громожденіемъ всяческихъ quasi-ужасовъ. Жуковскій былъ такимъ образомъ типичнымъ представителемъ того псевдо-романтизма, кото-рый на долгое время заполонилъ собой русскую литературу.

Конечно, несмотря на все это, легкомысленное отношеніе къ поэзіи Жуковскаго было бы неизвинительнымъ; значеніе его для исторіи русской литературы и для исторіи эволюціи индивидуализма въ литературѣ слишкомъ велико, хотя характеристика этого значенія и не входитъ въ нашу задачу. Скажемъ только одно, что «поэтъ субъективнаго чувства», какъ обыкновенно называютъ Жуковскаго, въ области индивидуализма сдѣлалъ дальнѣйшій шагъ впередъ по сравненію съ сентиментализмомъ Карамзина. *Сентиментальный псевдо-романтизмъ Жуковскаго былъ первой ступенью къ эстетическому индивидуализму*, подобно тому какъ сентиментализмъ Карамзина былъ первой ступенью къ индивидуализму этическому. Жуковскій — первый чистый лирикъ въ русской поэзіи; отбросивъ все внѣшнее и наружное сентиментализма, онъ углубился въ свою душу, и міръ его поэзіи есть міръ его души. Правда, онъ всегда старался, какъ мы это увидимъ ниже, служить своей поэзіей какой-то высокой и великой цѣли; но это была теорія, не сходящаяся съ практикой его поэзіи. Лирика Жуковскаго и его элегизмъ были первыми безсозна-



тельными шагами на пути къ эстетическому индивидуализму. Дорога же къ эстетическому индивидуализму всегда ведетъ сначала черезъ болото политическаго индифферентизма; этотъ путь совершилъ и Жуковскій, перейдя впоследствии отъ квіетизма Карамзина къ вполне реакціонному отношенію ко всѣмъ лучшимъ росткамъ развивавшейся общественности того времени. Онъ стоитъ на стражѣ завѣтовъ старины, онъ охраняетъ «порядокъ» существующаго строя и догмы мѣщанской морали... «Я ненавижу все, что ты написалъ возмутительнаго для порядка и нравственности — пишетъ онъ Пушкину (12 апр. 1826 г.): — ты ужъ многимъ нанесъ вредъ неисцѣлимый»... Декабристы для него «сволочь», «шайка разбойниковъ», «мелкая дрянь», «бандиты» (письмо къ А. И. Тургеневу, 16 дек. 1825 г.). Конечно, надо помнить, что position oblige: официальное положеніе Жуковскаго въ семьѣ Николая I обязывало его къ опредѣленному политическому воззрѣнію; но Жуковскому не приходилось насиловать свою совѣсть, такъ какъ всѣ эти мнѣнія исходили изъ его сердца. Квіетистъ и индифферентистъ по природѣ, онъ не понималъ стремленія къ свободѣ внѣшней, а удовлетворялся самыми минимальными дозами внутренней свободы. «Что есть свобода?»—спросилъ онъ однажды самъ себя, и немедленно отвѣтилъ: «способность произносить слово *нѣтъ* мысленно. (!) или вслухъ» («Отрывки», 1850 г.). Теорія, сводящаяся или къ показыванію комбинаціи изъ трехъ пальцевъ въ карманѣ, или къ прекраснодушію. Последнее и отразилось цѣликомъ въ меланхолической поэзіи Жуковскаго.

Необходимо замѣтить однако, что обскурантомъ, гасителемъ ни въ области мысли, ни въ вопросахъ политическихъ Жуковскій не былъ никогда. «Духа не угашайте»—было девизомъ Жуковскаго, какъ ни узко понималъ онъ границы, въ которыхъ разрѣшалось пламенѣть духу; сентиментальный псевдо-романтикъ, онъ былъ гуманистомъ, и поэзія его была факторомъ прогрессивнаго значенія, каковы бы ни были его политическіе взгляды. Прогрессивное значеніе ея намъ станетъ еще болѣе яснымъ, если мы отъ зачаточнаго эстетическаго индивидуализма Жуковскаго перейдемъ къ его достаточно рѣзко выраженному литературному анти-мѣщанству.

Русскій псевдо-романтизмъ продолжалъ начатую сентиментализмомъ борьбу съ литературнымъ мѣщанствомъ ложно-классицизма, а затѣмъ и съ мѣщанствомъ разложившагося ультра-сентиментализма. У Жуковскаго это не было разрывомъ съ обыденностью, а было просто борьбой съ узкими формами отмирающихъ литературныхъ теченій. Въ то время послѣднимъ оплотомъ ложно-классицизма и

— 19 —  
ультра-сентиментализма была мертворожденная «Бесѣда любителей россійской словесности» (1811—1817 г.), въ борьбу съ которой вступилъ знаменитый въ исторіи русской литературы «Арзамасъ». Какъ извѣстно, въ Арзамасѣ вокругъ Жуковскаго группировалось все свѣжее, все живое и молодое того времени (1815—1818 г.): Батюшковъ—Ахиллъ, Н. И. Тургеневъ—Варвикъ, кн. Вяземскій—Асмодей, Дашковъ—Чу! и молодой Пушкинъ—Сверчокъ (члены Арзамаса носили прозвища изъ балладъ Жуковскаго). Въ этомъ литературномъ кружкѣ борьба съ мѣщанствомъ ложно-классицизма и ультра-сентиментализма свелась на почву эпиграммы, пародіи, шутки; Жуковскій въ стихахъ высмѣивалъ «мериносовъ Бесѣды»:

Важень предъ стадомъ тащился старый баранъ, волокущій  
Тяжкій курдюкъ на скрипящихъ колесахъ—Шишковъ сѣдоруный;  
Рядомъ съ нимъ Шутовской, овца брюхатая, охаль!  
Важно везъ назади осель Голенищевъ-Кутузовъ  
Тяжкій со причтами возъ; а на козлахъ мартышка  
Въ буркѣ, графъ Дмитрій Хвостовъ, тряслась; и, качаясь на дышлѣ,  
Скромно висѣлъ въ чемоданѣ домашній тушканчикъ Вздыхаловъ..

(„Протоколь 20 Арзамасскаго засѣданія“, 1817 г.)

Здѣсь рядомъ съ ложно-классиками Шишковымъ и Хвостовымъ высмѣивается и ультра-сентименталистъ Вздыхаловъ (Станевичъ), и въ этой борьбѣ на два фронта сентиментальный псевдо-романтизмъ не могъ не остаться побѣдителемъ: слишкомъ осязательно чувствовалось въ поэзи Жуковскаго вѣяніе новой жизни и за туманомъ новыхъ формъ вдали мерцало новое содержаніе. Литературное мѣщанство было наголову разбито Жуковскимъ; Пушкинъ довершилъ его поражение.

Переходя къ Пушкину, мы прежде чѣмъ касаться вопроса о его романтизмѣ, сперва прослѣдимъ конецъ борьбы съ литературнымъ мѣщанствомъ, иначе говоря, обратимся -сперва къ первому періоду жизни Пушкина (1815—1820 г.). Величайшій русскій поэтъ въ такъ называемомъ «лицейскомъ періодѣ» своей литературной дѣятельности отдалъ дань литературному мѣщанству ложно-классицизма и ультра-сентиментализма. Мертвая, заледенѣлая форма давитъ образы молодого поэта въ «Воспоминаніяхъ въ Царскомъ Селѣ» (1815 г.); тутъ мы найдемъ всю бутафорію ложно-классицизма—всякіе «кольчуги и мечи», риторическіе вопросы въ родѣ «но что я зрю» или «не сель Минервы росской храмъ?» и т. п. Въ это время Пушкину было 15 лѣтъ, Державинъ и даже Петровъ были для него образцами (I, 55<sup>1</sup>). Еще

<sup>1</sup>) Ссылки и цитаты по изданію Литературнаго Фонда 1887 г., съ дополненіями по изд. 1903—1904, ред. Ефремова.

въ посланіи «Къ Жуковскому» (1817 г.) мы можемъ найти у него отзвуки ложно-классицизма, послѣднія нотки котораго звучатъ даже въ его одѣ «Вольность» (1820 г.); но все-таки молодой поэтъ достаточно быстро сбрасываетъ съ себя узкое ярмо литературнаго мѣщанства. Уже въ 1824 году Пушкинъ нанесъ окончательный ударъ ложно-классицизму своей знаменитой одой графу Хвостову:

Султанъ ярится. Кровь Эллады  
И рѣзво скачетъ, и кипитъ.  
Открылись грекамъ древни клады,  
Трепещетъ въ Стиксѣ лютый Питтъ.  
И се—летитъ продерзко судно  
И мечетъ громы обоудно...

«Подражаніе г. Петрову, знаменитому нашему лирику»—иронизируетъ Пушкинъ по поводу первой фразы... Ода эта знаменуетъ эпоху: съ этой поры литературное мѣщанство ложно-классицизма навсегда сошло со сцены. И въ томъ же 1824 году Пушкинъ писалъ кн. Вяземскому: «старая классическая (поэзія), на которую ты нападаешь, полно, существуетъ ли у насъ?.. Гдѣ же враги романтической поэзіи? Гдѣ столбы классической?!» (VII, пис. 62). А четыре года спустя мѣщанство ложно-классицизма было такимъ далекимъ преданіемъ, что Пушкинъ только съ легкой усмѣшкой вспоминаетъ о немъ въ послѣдней строфѣ VII-ой главы «Евгенія Онѣгина».—Буквально то же самое повторилось и съ ультра-сентиментализмомъ, которымъ Пушкинъ увлекался въ 1814 году (см., напр., нѣкоторыя мѣста изъ его «Городка»); уже годъ спустя въ посланіи «Къ Дельвигу» Пушкинъ высмѣялъ всѣ эти воспѣванія рощицъ, ручейковъ, цвѣтиковъ и вѣтерочковъ... Впослѣдствіи онъ иронизируетъ надъ «сентиментальностью манерной» (II, 8), а въ 1824 г. непочтительно отзывается объ евангеліи сентиментализма—романахъ Ричардсона: «читаю Клариссу: мочи нѣтъ, какая скучная дура!» (VII, п. 79).

Покончивъ съ мѣщанствомъ ложно-классицизма и ультра-сентиментализма, Пушкинъ также быстро перешагнулъ и черезъ сентиментальный псевдо-романтизмъ Жуковскаго. Нашъ знаменитый «балладникъ» и «поэтический дядька чертей и вѣдьмъ», ведя ожесточенную борьбу съ литературнымъ мѣщанствомъ, совершенно не замѣтилъ, какъ самъ запутался въ сѣтяхъ сугубаго мѣщанства. Вслѣдъ за «Людмилой», написанной въ 1808 г., появилась и «Свѣтлана» (1812 г.), представляющая изъ себя «то же—иначе» приготовленное, и затѣмъ посыпался цѣлый дождь балладъ, псевдо-романтическихъ поэмъ, «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ» («Громобой») и т. п.; все это опять-таки «то

же—иначе», и въ концѣ концовъ быстро утратило значеніе новизны; появились сотни подражаній, передѣлокъ, сентиментальный псевдо-романтизмъ началъ мало-по-малу застывать въ условныхъ формахъ, обращаться въ литературное мѣщанство. Пушкинъ прошелъ черезъ стадію подражанія сентиментальному псевдо-романтизму (см., напр., стихотворенія «Кольна», «Эвлега», «Осгаръ», «Сраженный рыцарь», «Желаніе», «Осеннее утро», «Разлука», «Элегія», «Наслажденіе, и др. 1814 — 1816 г.), но быстро пошелъ впередъ, и уже три-четыре года спустя далъ рядъ классическихъ, изумительныхъ по силѣ и красотѣ произведеній (напр., «Рѣдѣтъ облаковъ летучая гряда», «Нереида» и др.). Въ это же время (1820 г.) выходитъ въ свѣтъ его первая поэма, являющаяся рѣшительнымъ ударомъ мѣщанству сентиментальнаго псевдо-романтизма. На это до сихъ поръ совершенно не обращали вниманія, но именно въ этомъ, быть можетъ, главное значеніе «Руслана и Людмилы». Послѣ появленія этой поэмы стали смѣшными и комичными всѣ эти, взятые на прокатъ изъ нѣмецкой литературы, воющіе трупы, мрачные колдуны и вѣдьмы, которые «вопятъ» предъ смертью разные ужасы; вообще стала излишней вся эта бутафорія псевдо-романтизма, которой

Поэтъ таинственныхъ видѣній,  
Любви, мечтаній и чертей

усердно угощаль читателей и продолжалъ угощать ихъ даже въ 30-хъ годахъ, послѣ «Бориса Годунова» и «Онѣгина». Въ «Русланѣ и Людмилѣ» вся эта бутафорія высмѣяна Пушкинымъ: тутъ передъ нами вмѣсто страшной колдуньи—безобидная старушонка «чуть-чуть живая, горбатая, совсѣмъ сѣдая», комично объясняющаяся въ любви «сквозь кашель»; тутъ и «коварный, злобный Черноморъ», до смерти перепугавшійся визга испуганной Людмилы... Все это было совершенно ново послѣ тягучихъ, скучныхъ ужасовъ Жуковского. Своей шутливой поэмой Пушкинъ нанесъ рѣшительный ударъ тоскливой и прозаичной фантастикѣ Жуковского; онъ сдѣлалъ это совершенно сознательно, и явно бросилъ перчатку сентиментальному псевдо-романтизму: въ IV-й пѣснѣ «Руслана и Людмилы» мы находимъ насмѣшливую пародію на «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ» Жуковского. Надо прибавить, что къ самому Жуковскому молодой поэтъ въ своей поэмѣ относился очень почтительно, именуя его «сѣвернымъ Орфеемъ» и тому подобными лестными наименованіями, а впослѣдствіи даже сожалѣлъ, что «въ угожденіе черни» напалъ въ первой своей поэмѣ на своего учителя, и заявлялъ: «зачѣмъ кусать намъ груди кормилицы нашей, потому

что зубки прорѣзались?... Жуковский имѣлъ рѣшительное вліяніе на духъ нашей словесности»... (V, 120 и VII, п. 94) Интересно, что самъ Жуковский восторженно встрѣтилъ появленіе «Руслана и Людмилы», не сознавая, что поэма эта—его смертный приговоръ; по прочтеніи ея онъ подарилъ Пушкину свой портретъ съ надписью: «ученику отъ побѣжденнаго учителя», а еще черезъ два года вѣрно предсказалъ Сверчку-Пушкину: «быть сверчку орломъ и долетѣть ему до солнца!» (см. письмо Жуковскаго къ Пушкину отъ 1-го іюня 1823 г.). Роль Жуковскаго въ исторіи русской литературы была въ это время закончена, «Русланъ и Людмила»—его надгробный памятникъ; и не даромъ Пушкинъ пророчески назвалъ Жуковскаго въ одномъ письмѣ 1820 года «въ Бозѣ почивающимъ», а нѣсколько позже (въ 1824 г.) писалъ: «Жуковскаго я получилъ. Славный былъ покойникъ, дай Богъ ему царство небесное!» (VII, пп. 5 и 66).

Итакъ, «Русланъ и Людмила»—это послѣдніе расчеты Пушкина съ литературнымъ мѣщанствомъ сентиментальнаго псевдо-романтизма но, съ другой стороны, мы видимъ въ этой поэмѣ ясно выраженный переходный моментъ русской литературы отъ романтизма логическаго къ романтизму этическому. Выборъ сюжета сдѣланъ еще по рецепту романтической фантастики, но въ шутивномъ тонѣ его разработки лежитъ полное отрицаніе «романтики мысли»; въ поэмѣ Пушкина все время слышится смѣхъ автора надъ читателемъ, надъ собой, надъ героями, надъ фантастикой. (Вспомнимъ, какъ возмущало анонима критика Пушкина, нѣкоего «Жителя Бутырской слободы», что голова великана чихаетъ, а Черноморъ грозитъ удавить своей бородой араповъ...). Въ «Русланѣ и Людмилѣ» мы видимъ такимъ образомъ полное отрицаніе романтики мысли, логическаго романтизма; въ русскую литературу вмѣстѣ съ Пушкинымъ вступалъ романтизмъ воли, этический романтизмъ; отъ подражанія нѣмецкому романтизму русская литература перешла къ подражанію романтизму англійскому, и мы сейчасъ увидимъ, что байронизмъ Пушкина былъ также псевдо-романтизмомъ.

Романтика воли у Байрона вылилась въ формы титанизма; Байронъ былъ и остался въ этой области единственнымъ по силѣ представителемъ романтизма; мы указывали впрочемъ, что однажды и Гете обмолвился такой титанической вещью, какъ «Прометей», но ласточка одна не дѣлаетъ весны. Безпредѣльная сила, титаническое могущество человѣческаго духа—вотъ та область, въ которой Байронъ заглядываетъ «за предѣлы предѣльнаго»; каждый изъ героевъ Байрона, подобно Манфреду,

... человекъ великихъ силъ и мыслей,  
Добру и злу незнающій границъ.

Каждый изъ нихъ человекъ не только великихъ силъ, но и великихъ мыслей, незнающій границъ не только злу, но и добру. Титанизмъ есть противопоставленіе безмѣрныхъ, и безграничныхъ стремленій и проникновеній личности обыденности всего окружающаго; такимъ образомъ титанизмъ является настроеніемъ не только этического, но и религіознаго характера. «Титаническія силы имѣютъ въ себѣ что-то безмѣрное, тяжело-безконечное» — справедливо замѣчаетъ Бѣлинскій; въ этой ихъ безконечности и безмѣрности на почвѣ полу-сознанной мистической идеи—основа этического романтизма.

Мы видѣли, что «Русланъ и Людмила» былъ сведеніемъ послѣднихъ счетовъ Пушкина съ сентиментальнымъ псевдо-романтизмомъ; онъ немедленно совершилъ и дальнѣйшій шагъ отъ романтизма логическаго къ этическому: наступилъ періодъ пушкинскаго «байронизма». Одна за другой появляются поэмы «Кавказскій Плѣнникъ» (1821 г.), «Братья Разбойники» (1821 г.), «Бахчисарайскій фонтанъ» (1822 г.), «Цыганы» (1824 г.): всѣ онѣ «отзываются чтеніемъ Байрона, отъ котораго я тогда съ ума сходилъ», по позднѣйшему признанію самого Пушкина (V, 121). Но надо сразу сказать, что, сходя съ ума отъ Байрона, Пушкинъ совершенно не понималъ главнаго значенія его романтизма. На романтизмъ вообще Пушкинъ смотрѣлъ сравнительно вѣрно для своего времени; онъ совершенно справедливо не считалъ возможнымъ признавать романтизмомъ только «уныніе» и мечтательность» поэзіи Жуковскаго; онъ осуждалъ также и тѣхъ, которые «даже называютъ романтизмомъ неологизмъ и ошибки грамматическія», онъ называлъ жалкою ту литературу, въ которой мелочная критика разбираетъ не духъ произведенія, а отдѣльныя слова и выраженія (V, 32 и 60),— и въ этомъ случаѣ Пушкинъ смотрѣлъ гораздо глубже даже Бѣлинскаго, который, разбирая «Цыганъ», видѣлъ ихъ романтизмъ только въ двестишій

Медвѣдь, бѣглець родной берлоги,  
Косматый гость его шатра,

которое и критикуетъ подробно, называя его ультра-романтическимъ. Итакъ, Пушкинъ имѣлъ сравнительно вѣрные взгляды на тотъ унылый и мечтательный псевдо-романтизмъ, о которомъ онъ мѣтко замѣчаетъ, говоря про Ленскаго:

Такъ онъ писалъ *темно и вяло*,  
Что романтизмомъ мы зовемъ,  
Хоть романтизма тутъ нимало  
Не вижу я...

Но оцѣнивая совершенно точно значеніе сентиментальнаго псевдоромантизма, Пушкинъ совершенно не понялъ романтизма Байрона, не понялъ значенія титанизма въ поэзіи великаго англійскаго романтика. Тѣ произведенія Байрона, которыя особенно характерны для его романтизма, Пушкинъ не любилъ, и, наоборотъ, высоко цѣнилъ его менѣе характерныя вещи; онъ находилъ, что «геній Байрона блѣднѣлъ съ его молодостію», и что Каинъ и Манфредъ ниже Гяура и Гарольда (VII, п. 67); по его мнѣнію

Лордъ Байронъ прихотью удачной  
Облекъ въ унылый романтизмъ  
И безнадежный эгоизмъ

(«Евгеній Онѣгинъ», гл. III, стр. XII). Конечно, трудно дать Байрону болѣе невѣрную характеристику... Отсюда ясно, чему могъ подражать Пушкинъ въ Байронѣ и насколько романтизма могло оказаться въ такихъ подражаніяхъ.

Всѣ «байроническіе» типы Пушкина облечены имъ въ унылое разочарованіе, чаще всего на почвѣ любви и пресыщенія благами міра; въ «безнадежномъ эгоизмѣ» Пушкинъ и видитъ этической романтизмъ. Конечно, было бы тщетной попыткой искать черты титанизма въ этихъ псевдоромантическихъ герояхъ Пушкина; подобно тому какъ въ логическомъ псевдоромантизмѣ Жуковскаго вмѣсто фантастической таинственности мы видѣли только тщетныя усилія быть страшнымъ, такъ и въ этическомъ псевдоромантизмѣ Пушкина вмѣсто безпредѣльнаго титанизма мы найдемъ только напрасныя попытки быть сильнымъ. По этой причинѣ его Кавказскій Плѣнникъ

...бури немощному вою  
Съ какой-то радостью внималъ,

въ глубокомъ молчаньи таилъ «движенія сердца своего»

И на челѣ его высокомъ  
Не измѣнялось ничего...

По этой же причинѣ въ «Братьяхъ-Разбойникахъ» мы встрѣчаемся со «свирѣпыми ликами», окаменѣлымъ жестокимъ духомъ и тому подобными атрибутами «мрачной силы» и quasi-титанизма. Въ «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ» Гирей

...часто въ сѣчахъ роковыхъ  
Подъемлетъ саблю, и съ размаха  
Недвижимъ остается вдругъ,  
Глядитъ съ безуміемъ вокругъ,  
Блѣднѣетъ, будто полный страха,  
И что-то шепчетъ...

Наконецъ въ «Цыганахъ» Алеко также изображается «безнадежнымъ эгоистомъ» съ титанической силой воли... И все сіе вотще: ни единого атома титанизма нельзя найти во всѣхъ этихъ «москвичихъ въ Гарольдовомъ плащѣ»... Самъ Пушкинъ скоро это созналъ; по крайней мѣрѣ онъ добродушно подсмѣивается надъ своими псевдо-романтическими героями, лишь только пустить ихъ въ свѣтъ. «Кавказскій Пльнникъ»—первый неудачный опытъ характера, по сознанию самого Пушкина; «мы вдоволь надъ нимъ посмѣялись» (V, 121). «Характеръ Пльнника неудаченъ,—пишетъ Пушкинъ въ томъ же году (1821 г.):—это доказываетъ, что *я не южусь въ герои романтическаго стихотворенія*... (VII п. 18; курсивъ нашъ). Цѣнное признаніе, которое можно принять съ тѣмъ дополненіемъ, что Пушкинъ не годится ни въ герои, ни въ авторы произведенія истиннаго романтизма. Онъ постоянно стремился выйти «за предѣлы предѣльнаго» въ области романтики воли, въ сферѣ титанизма, но стремленію этому никогда не суждено было осуществиться; вотъ почему Пушкинъ является такимъ же псевдо-романтикомъ въ своемъ подражаніи Байрону, какимъ былъ Жуковскій въ подражаніи нѣмецкому романтизму.

Однако псевдо-романтизмъ Пушкина имѣетъ въ исторіи эволюціи индивидуализма въ русской литературѣ въ высокой степени важное значеніе; по этому направленію Пушкинъ сдѣлалъ слѣдующій шагъ, послѣ Карамзина и Жуковскаго. Подобно тому какъ сентиментализмъ Карамзина былъ первой ступеню къ этическому индивидуализму, а сентиментальный псевдо-романтизмъ Жуковскаго — первой ступеню къ индивидуализму эстетическому, такъ и *байроническій псевдо-романтизмъ Пушкина былъ первой ступеню къ соціологическому индивидуализму*. Прима́тъ личности надъ обществомъ есть то общее, что связываетъ воедино всѣхъ quasi-титаническихъ героевъ Пушкина; конечно, этотъ соціологическій индивидуализмъ выраженъ еще въ самой примитивной, въ самой зачаточной формѣ, но наличность его сказывается все сильнѣе и сильнѣе отъ «Кавказскаго Пльнника» къ «Цыганамъ». Свобода личности, сбросившей съ себя общественныя оковы и мѣщанскія путы, составляетъ главное содержаніе поэзіи Пушкина периода псевдо-романтизма (1820—1825 гг.)

Свобода! онъ одной тебя  
Еще искалъ въ подлунномъ мірѣ,—

говорить Пушкинъ про своего пльнника:—

Съ волненіемъ пѣсни онъ внималъ,  
Одушевленные тобою;



И съ вѣрой, пламенной мольбою  
Твой гордый идолъ обнималъ.

Надо замѣтить однако, что здѣсь Пушкинъ и его alter ego, Плѣнникъ, ищутъ не одной свободы личности; эпоха созданія «Кавказскаго Плѣнника» была, какъ извѣстно, эпохой самаго крайняго пушкинскаго либерализма, эпохой «Вольности» и мечтаній объ «обломкахъ самовластья» (I, 195). Въ «Цыганахъ» этотъ соціологическій индивидуализмъ сказывается уже несравненно яснѣе. «Въ Алеко—замѣчаетъ Бѣлинскій — Пушкинъ хотѣлъ показать образецъ человѣка, который до того проникнуть сознаниемъ человѣческаго достоинства, что въ общественномъ устройствѣ видитъ одно только униженіе и позоръ этого достоинства». Во всякомъ случаѣ передъ нами чело-вѣкъ, бѣжавшій отъ мѣщанства общественной жизни:

... Когда-бъ ты знала,—  
говорить онъ,—

Когда бы ты воображала  
Неволю душныхъ городовъ!  
Тамъ люди въ кучахъ за оградой  
Не дышатъ утренней прохладой,  
Ни вешнимъ запахомъ луговъ.  
Любви стыдятся, мысли гоняютъ,  
Торгуютъ волею своей,  
Главы предъ идолами клонятъ  
И просятъ денегъ да цѣпей...

Теперь подъ сѣнью цыганскихъ шатровъ онъ упивается только «неоцѣненнымъ даромъ свободы» и «презираетъ оковы просвѣщенья» мѣщанской культуры. Здѣсь передъ нами уже не требованіе общественной свободы, а самоосвобожденіе личности; это первая въ русской литературѣ попытка разрубить гордіевъ узелъ проблемы соціологическаго индивидуализма: мнѣ нѣтъ дѣла до общества и его совершенствованія, если при этомъ страдаю я, страдаетъ реальная чело-вѣческая личность—провозгласить впоследствии величайшій въ Россіи представитель соціологическаго индивидуализма (Михайловскій). Таковы и несознанныя еще внутреннія переживанія Алеко: онъ освобождаетъ свою личность, не умѣя примирить личность и общество; онъ высказываетъ это и по отношенію всякой другой личности вообще. Его «дитя любви, дитя свободы» не будетъ знать «пышной суеты наукъ» и неволи душныхъ городовъ.

Отъ общества, быть можетъ, я  
Отъемлю нынѣ гражданина,—

размышляетъ по этому поводу Алеко, и разрѣшаетъ свое сомнѣніе въ духѣ признанія примата личности надъ обществомъ:

Что нужды?—Я спасаю сына...

Такимъ образомъ первые проблески соціологическаго индивидуализма въ типѣ Алеко несомнѣнны; но въ то же время намъ весьма важно подчеркнуть и одновременное отрицаніе въ немъ индивидуализма этического, что впервые отмѣтилъ тотъ же Бѣлинскій (конечно, съ иной терминологіей). Тотъ эгоизмъ, который такъ возмущалъ Бѣлинскаго въ Алеко, есть, какъ это мы уже знаемъ, рѣзкій этической анти-индивидуализмъ. Человѣкъ выше общества, и въ этомъ смыслѣ человѣкъ — цѣль, — заявляетъ соціологическій индивидуалистъ Алеко; но для меня человѣкъ — средство, — тотчасъ прибавляетъ Алеко этической анти-индивидуалистъ. «Ты для себя лишь хочешь воли», — такъ характеризуетъ старый цыганъ этической анти-индивидуализмъ Алеко; этимъ осужденіемъ этического анти-индивидуализма и кончается поэма, и такимъ образомъ ошибка Алеко не дѣлается ошибкой міровоззрѣнія самого Пушкина. Для насъ въ «Цыганахъ» особенно интереснымъ является именно этотъ фактъ *одновременной наличности въ міровоззрѣніи чловѣка соціологическаго индивидуализма и этической анти-индивидуализма*; впоследствии намъ придется встрѣчаться съ этимъ фактомъ, и — что интереснѣе всего — даже у того самаго Бѣлинскаго, который съ такой силой возсталъ противъ этого смѣшенія...

Таковы индивидуалистическіе мотивы байроническаго псевдоромантизма Пушкина; о мотивахъ анти-мѣщанскихъ мы уже говорили, отмѣчая борьбу великаго поэта съ литературнымъ мѣщанствомъ. Надо ли прибавлять, что самъ Пушкинъ въ концѣ концовъ созналъ, что и его «байронизмъ» былъ также однимъ изъ этаповъ литературнаго мѣщанства? Самъ же онъ впоследствии нанесъ послѣдній ударъ этому послѣднему проявленію литературнаго мѣщанства въ Россіи; объ этомъ рѣчь будетъ ниже, теперь же необходимо указать на то, что въ псевдо-романтизмѣ Пушкина мы не имѣемъ все-таки того разрыва съ обыденностью, которымъ характеризуется романтизмъ. Мы увидимъ, что Пушкинъ боролся и погибъ въ борьбѣ съ обыденностью жизни, съ мѣщанствомъ ея; но въ то же самое время Пушкинъ былъ слишкомъ земной человѣкъ, слишкомъ реалистъ по природѣ, чтобы стремиться къ разрыву съ обыденностью не только въ смыслѣ борьбы съ мѣщанствомъ, но и въ смыслѣ стремленія и проникновенія «за предѣлы предѣльнаго», отрясая прахъ отъ всего зем-

ного. Ни единого атома мистическаго настроенія не было въ груди Пушкина; онъ не былъ въ силахъ внять «неба содроганью» и услышать «горній ангеловъ полетъ»; его влекъ и манилъ къ себѣ нашъ земной міръ, міръ трехъ измѣреній.

Къ Пушкину намъ еще придется вернуться, а теперь, говоря о байроническомъ псевдо-романтизмѣ, нельзя пройти мимо Лермонтова, о которомъ также, впрочемъ, подробная рѣчь впереди. Байронизмъ Лермонтова носилъ совершенно иной характеръ по сравненію съ байронизмомъ Пушкина; Лермонтовъ чувствовалъ и понималъ, что главное значеніе романтизма Байрона въ такихъ его произведеніяхъ, какъ «Каинъ» или «Манфредъ», — произведеніяхъ, свидѣтельствующихъ, по мнѣнію Пушкина, объ упадкѣ таланта великаго англійскаго романтика. Особенное вниманіе Лермонтова останавливаетъ на себѣ «Каинъ», съ титанической фигурой Люцифера; различные мотивы изъ «Каина» взяты Лермонтовымъ эпиграфами къ одному изъ первоначальныхъ набросковъ «Демона» (II, 50<sup>1</sup>). «Вы счастливы?» — спрашиваетъ Каинъ Люцифера; «мы могучи» — отвѣчаетъ тотъ, и этимъ «motto» Лермонтовъ желалъ вскрыть смыслъ своего могучаго, гордаго духа изгнанья. Душа молодого Лермонтова была полна обаяніемъ имени англійскаго поэта; онъ тщательно подчеркиваетъ черты своего сходства съ Байрономъ, переводитъ Байрона, цитируетъ его (см., напр., IV, 287—289; I, 89, 178; II, 139 и др.); онъ открыто заявляетъ въ одномъ стихотвореніи (1830 г.):

... Байрона достигнуть я-бъ хотѣлъ:  
У насъ одна душа, однѣ и тѣ же муки,  
О, если-бъ одинаковъ былъ удѣлъ..

Правда, уже годъ спустя Лермонтовъ созналъ, что онъ «не Байронъ, а другой еще невѣдомый избранникъ»; но это не мѣшало ему своей силой близко подходить къ титанизму Байрона. «Я чувствую въ душѣ своей силы необъятныя» — говорилъ alter ego Лермонтова, Печоринъ, и силы эти особенно рельефно выдѣляются при сопоставленіи съ тщетными потугами на силу байроническихъ типовъ Пушкина. И все-таки байронизмъ Лермонтова не былъ титанизмомъ, и романтизмъ его былъ псевдо-романтизмомъ.

Возьмемъ, на примѣръ, лермонтовскаго Демона, это любимое созданіе поэта, прошедшее черезъ все его творчество (1829.—1840 г.). Этотъ Демонъ — «могучій образъ», «гордый и нѣмой» («Сказка для

1) Ссылки и цитаты по изданію 1891 г., подъ ред. Арс. Введенскаго.

дѣтей», 1841 г., II, 95); его могучій взоръ сверкаетъ неотразимо, какъ кинжалъ (II, 39); онъ «царь познанья и свободы», измѣрившій «пучину гордаго познанья» (II, 33, 39). Все это приближаетъ Демона къ титаническому облику Люцифера, могучаго Master of Spirits; но тутъ же сразу бросается въ глаза и рѣзкая разница между ними. Прежде всего Демонъ, этотъ плохо загримированный Лермонтовъ, не великій, могучій, далекий отъ жизни, запредѣльный духъ, подобно Люциферу; онъ близокъ къ жизни, близокъ къ людямъ, настолько близокъ, что не отказывается даже отъ мелкихъ людскихъ наслажденій и еще болѣе мелкихъ злодѣйствъ (см., напр., II, 35 — 6). Въ немъ, также какъ и въ самомъ Лермонтовѣ, сочетается глубокий пессимизмъ съ глубокой жаждой жизни, стремленіе къ людямъ съ ненавистью къ нимъ. Изъ-за своей безконечной запредѣльности Демонъ тяготеетъ къ землѣ, завидуетъ «неполнымъ радостямъ людей» (II, 33; ср. II, 113). Одно это уже сводитъ съ титаническаго пьедестала демоническіе типы Лермонтова и дѣлаетъ его романтизмъ псевдо-романтизмомъ.

Ограничиваясь пока этими немногими строками и забѣгая нѣсколько впередъ, мы должны однако отмѣтить, что въ Россіи Лермонтовъ единственный такъ близко подошелъ къ религіозному романтизму, къ мистическому проникновенію въ природу. Мы увидимъ, что въ этой близости къ романтизму и въ безсиліи проникнуть за предѣлы предѣльнаго—вся глубокая трагедія лермонтовской жизни; въ ненависти къ мѣщанству и въ безсиліи разорвать съ обыденностью—причина гибели второго великаго русскаго поэта... Мы теперь временно оставляемъ его, чтобы перейти къ третьему и послѣднему роду романтизма въ русской литературѣ, къ романтикѣ чувства, къ тому, что мы условно и въ узкомъ смыслѣ назвали эстетическимъ романтизмомъ. Мы переходимъ теперь къ третьему и послѣднему фазису развитія романтизма на русской почвѣ, обратившемуся не только въ псевдо-романтизмъ, но кромѣ того и въ ультра-романтизмъ, а значитъ и въ типичнѣйшее литературное мѣщанство.

Пушкинъ съ обычной своей проницательностью еще въ самомъ началѣ 20-хъ годовъ пророчески предсказывалъ расцвѣтъ романтизма во Франціи: «романтизма нѣтъ еще во Франціи, — писалъ онъ въ 1823 г., — а онъ-то и возродитъ умершую поэзію. Помни мое слово: первый поэтический гѣній въ отечествѣ Буало ударитъ въ такую свободу, что—что твои нѣмцы!» (VII, п. 44; см. еще п. 115, 143, 151 и др.). Такъ Пушкинъ предсказалъ Виктора Гюго (къ которому, впрочемъ, самъ относился отрицательно), этого дѣйствительно перваго романтика во Франціи: до него Шатобрианъ, со своей апологіею

средневѣковаго католицизма, былъ только вторымъ изданіемъ Новалиса-Гарденберга; а современники его, слезливый Ламартинъ и слащавый де-Виньи были типичными сентиментальными псевдо-романтиками. Новое слово романтизма во Франціи сказалъ только Викторъ Гюго, вмѣстѣ со спутниками меньшей величины, въ родѣ Мюссе; у него мы находимъ яркую и глубокую романтику чувства, — между прочимъ и чувства любви. Въ своемъ революціонномъ романтизмѣ онъ выходилъ за предѣлы предѣльнаго, также какъ и въ изошренности тѣхъ страстей, которыми онъ щедро одѣлялъ своихъ героевъ. Что касается самой формы его произведеній, то ее ярче всего можно опредѣлить, какъ гениальную романтическую реторику. Фейерверкъ блестящихъ сравненій, неожиданныя метафоры, исключительность хода мыслей, пересыпанныхъ антитезами—вотъ та внѣшняя, показная сторона его таланта, которая обратила на себя главное вниманіе его подражателей.

Въ русской литературѣ ультра-романтизмъ явился не только вслѣдствіе подражанія Гюго, но и независимо отъ него, въ формѣ разложенія невѣрно понятаго байронизма; такимъ ультра-романтизмомъ насыщены, напримѣръ, почти всѣ юношескія произведенія Лермонтова, причемъ на послѣднемъ несомнѣнно отразилось прежде всего вліяніе Бестужева-Марлинскаго. Еще Пушкинъ замѣтилъ, что молодые писатели, желая изобразить глубокія и сильныя движенія страстей, заставляють своихъ героевъ содрогаться, дико хохотать, скрежетать зубами и т. п. (V, 121). Такимъ «молодымъ писателемъ» былъ и Лермонтовъ въ своихъ юношескихъ драмахъ и повѣстяхъ 1830 — 1832 г. Произведенія эти еще вполне дѣтскія, наивныя, съ курьезными историческими ошибками (въ «Вадимѣ», напримѣръ, уральскіе казаки говорятъ по-малорусски: «бисъ», «панъ», «ляхъ»... Это для *coûleur local*—въ Симбирской губерніи...), съ трескучими эффектами, съ картонными манекенами вмѣсто дѣйствующихъ лицъ. Манекены эти на каждомъ шагу дико смотрять и дико хохочуть, черезъ два слово въ третье восклицаютъ «адъ и проклятѣе», а услышавъ «пѣсню русскую со свирѣлью», приходятъ въ экстазъ: «Какіе звуки! они поразили мою душу!.. Кто ихъ произвелъ? Не съ неба ли, не изъ ада ли?..» (IV, 166; см., напр., IV, 98, 167, 176 — 178; III, 260; IV, 168, 170, 175, 180, 184, 215, 228; III, 263 и мн. др.). Конечно, такое теченіе было у Лермонтова мимолетнымъ (хотя отразившимся еще въ 1835 г. на типѣ Арбенина въ «Маскарадѣ», см. д. II, явл. 2); онъ вскорѣ стряхнулъ съ себя иго этого псевдо-романтизма исключительности страстей и ихъ выраженія; къ тому же всѣ эти полудѣт-

скія произведенія Лермонтова въ то время не увидѣли свѣта. Обще-признаннымъ романтикомъ чувства той эпохи былъ Бестужевъ-Марлинскій, на псевдо-романтизмѣ котораго намъ надо нѣсколько остановиться.

Для Бестужева-Марлинскаго Гюго стоялъ едва ли не выше Шекспира. «Передъ Гюго я ницъ, — писалъ онъ въ самомъ началѣ тридцатыхъ годовъ:—это уже не даръ, а гений во весь ростъ... Да, Гюго гений и неподдѣльный»... Къ Гюго Бестужевъ, по собственному признанію, относился «съ жаромъ удивленія и съ завистью безсильнаго соревнованія»; это дѣйствительно безсильное соревнованіе привело къ тому, что и самыя произведенія Бестужева являлись ненамѣренной пародіей Гюго. Первые его произведенія (напр., «Замокъ Нейгаузенъ», «Романъ и Ольга», 1823 г.) написаны еще въ духѣ сентиментальнаго романтизма, на позднѣйшихъ же отразились всѣ отрицательныя стороны утрированной романтики чувства: манерная напыщенность, ходульность, изобиліе фальшивыхъ и надутыхъ метафоръ—все это довело до мертвой однообразности разлагающійся русскій псевдо-романтизмъ. Бѣлинскій въ свое время блестяще вскрылъ все безнадежное мѣщанство этого литературнаго теченія, такъ что едва ли есть необходимость выяснять, что и въ области романтики чувства въ Россіи не было и не могло быть истиннаго романтизма.

Сильныя страсти выражаются у Бестужева-Марлинскаго патетическими восклицаніями. Если нужно изобразить сильное горе, то достаточно заставить какую-нибудь бѣдную Эмму закричать «дикимъ голосомъ» и упасть «какъ трупъ»; если на сцену выводится злодѣй, то взгляды его такъ свирѣпы и пронзительны, что убиваетъ на лету ласточекъ (!); если авторъ хочетъ нарисовать влюбленную женщину, то онъ сообщитъ, что «весь составъ Полины прыщеть искрами» (!), или что она «какъ пробка летаетъ по мятежнымъ бурунамъ противоположныхъ страстей». Всѣ герои Бестужева-Марлинскаго носятъ «адъ въ душѣ», такъ что если бы мы могли заглянуть въ эту душу, то мы ужаснулись бы,—такъ по крайней мѣрѣ увѣряетъ одинъ изъ нихъ. Героямъ этимъ вездѣ дорога, имъ все возможно: вотъ одинъ изъ нихъ, капитанъ фрегата, изящно помахиваетъ горячей свѣчей въ пороховой камерѣ корабля—и ничего, не взлетаетъ вмѣстѣ съ кораблемъ на воздухъ; вотъ другой падаетъ вмѣстѣ съ конемъ со снѣговой горы и летитъ «въ глубину по крайней мѣрѣ полуверсты»,—конь обращается въ лепешку, издыхаетъ подъ грузомъ лавинъ, герой же только отряхиваетъ съ себя снѣгъ...

Запутанность, превысренность и туманность рѣчи, обиліе вос-

клицательныхъ, вопросительныхъ знаковъ и многоточій должны придать рѣчи таинственный смыслъ и досказать неразсказанное словами; обиліе метафоръ должно придать рѣчи печать необыденности... И Бестужевъ-Марлинскій доходитъ на этомъ пути до геркулесовыхъ столповъ; его образы и сравненія—это просто рядъ шарадъ, съ предшествующимъ имъ рѣшеніемъ. Отгадайте, напримѣръ, что такое «ягоды полей воздушныхъ»?—это капли дождя; юный скелетъ, не одѣтый дубовой плотью?—это корабельный остовъ; «ржавыя, тяжкія латы бытія»—это жизнь; «чердакъ человѣческаго разума»?—это затылокъ (!), и т. д., и т. д., на каждой страницѣ, на каждомъ шагу, безъ числа, безъ мѣры, безъ надобности... Одинъ изъ талантливѣйшихъ русскихъ публицистовъ, загубившій свой большой талантъ въ безвременьи николаевской эпохи, Сенковскій, ядовито и зло высмѣялъ всю эту надутую шумиху фразъ, ходульность демоническихъ страстей, таинственность недоговоренныхъ словъ; въ его «Большомъ выходѣ у Сатаны» (1833 г.) чортъ романтизма такъ объясняется съ Сатаной: «Увы!...!!!..??..?!..!!!!!!..! я страдалъ...!!!.. я жестоко страдалъ!!!...!!..!..? Мрачная влажность проникла въ стѣны души моей; гробовая сырость ея вторгнулась, какъ измѣна, въ мой мозгъ, и мое воображеніе, вися неподвижно въ семъ тяжеломъ, мокромъ, холодномъ туманѣ болѣзненности, мерцало только свѣтомъ слабымъ, блѣднымъ, дрожащимъ, неровно мелькающимъ, похожимъ на ужасную улыбку рока, поразившаго острою свою добычу,—оно мерцало свѣтомъ лампы, внесенной рукою гонимаго въ убійственный воздухъ пещеры ужаса и смрада, заваленной гнющими трупами и хохочущими остовами...—Что это значитъ?—воскликаетъ изумленный Сатана. — Это значитъ??..!!!..?..!!!!!!..! это значитъ, что у меня былъ насморкъ», отвѣчаетъ чортъ романтизма...

У Бестужева-Марлинскаго и его сателлитовъ — Кукольника въ области драмы и Бенедиктова въ области версификаціи — мы встречаемся уже съ полнымъ разложениемъ псевдо-романтизма, съ обращеніемъ его въ литературное мѣщанство. И при этомъ интереснѣе всего то, что этотъ ультра-романтизмъ затѣмъ только и напускалъ на себя всю эту напыщенность, ходульность и выпренность, чтобы возстать противъ мѣщанства жизни и ея обыденности; отсюда и созданіе всѣхъ этихъ героевъ съ исключительными страстями, всѣхъ этихъ героинь, составъ которыхъ прыщеть искрами. *Въ ультра-романтизмъ Бестужева-Марлинскаго мы имѣемъ послѣднюю вспышку литературнаго мѣщанства*, окончательно добытаго рукою Пушкина, а впослѣдствіи Лермонтова и Гоголя.

Послѣдній, слабый отзвукъ романтизма у Пушкина — это его «Пиковая Дама» (1834 г.); но уже гораздо раньше Пушкинъ повелъ борьбу съ российскимъ романтизмомъ, быть можетъ, самъ не сознавая этого: по крайней мѣрѣ создавая своего «Бориса Годунова», Пушкинъ считалъ его романтической трагедіей и боялся, что «робкій вкусъ нашъ не стерпитъ истиннаго романтизма» (VII, п. 121 и 151). Въ «Повѣстяхъ Бѣлкина» (1830 г.) послѣ слабого отзвука былыхъ попытокъ обрисовать въ «Выстрѣлѣ» сильный и мрачный характеръ, Пушкинъ въ «Барышнѣ-Крестьянкѣ» даетъ насмѣшливо набросанный портретъ одного изъ излюбленныхъ героевъ Бестужева-Марлинскаго; мрачный, разочарованный герой, а въ сущности просто добрый малый, говоритъ объ увядшей юности, утраченныхъ радостяхъ, и носить черное кольцо съ изображеніемъ мертвой головы... «Все это было чрезвычайно ново въ той губерніи», иронически замѣчаетъ Пушкинъ (IV, 77); успѣхъ повѣстей Бестужева-Марлинскаго показалъ, однако, что этой губерніей была вся Россія, вся читающая толпа <sup>1)</sup>. Десять лѣтъ спустя и Лермонтовъ нанесъ ударъ вырождающемуся ультра-романтизму своей ядовитой пародіей на героевъ Бестужева-Марлинскаго въ «Героѣ нашего времени», въ типѣ Грушницкаго. Грушницкій важно драпируется «въ необыкновенныя чувства, возвышенныя страсти и исключительныя страданія»; вы сейчасъ же узнаете въ немъ любого изъ безчисленныхъ героевъ ультра-романтизма, съ той только разницей, что передъ нами живой человѣкъ, а не кукла восковая. Грушницкій — одинъ изъ послѣднихъ ударовъ литературному мѣщанству, во оставленіе грѣховъ юности самого Лермонтова съ его мелодраматическими героями.

Но, конечно, не отдѣльные булавочные уколы покончили съ послѣднимъ звеномъ мѣщанства формы въ русской литературѣ; мы увидимъ впослѣдствіи, что ультра-романтизмъ покоился на такой широкой базѣ, какъ система официальнаго мѣщанства, чѣмъ и объясняется его сравнительно долгая живучесть. Послѣдніе проблески мѣщанства ультра-романтизма (Бенедиктовъ) умираютъ вмѣстѣ со смертью эпохи политическаго мѣщанства; но, начиная съ тридцатыхъ годовъ, романтизмъ все болѣе и болѣе теряетъ почву въ литературѣ и въ жизни, въ кругахъ интеллигенціи, погибая подъ напоромъ того новаго теченія, которое выступило на смѣну романтизму. Реализмъ,

<sup>1)</sup> Кстати замѣтимъ: въ одномъ мѣстѣ этой повѣсти Пушкинъ единственный разъ упоминаетъ объ индивидуализмѣ, находя главнымъ достоинствомъ человѣка «особенность характера, самобытность (individualité), безъ чего, по мнѣнію Жанъ-Поля, не существуетъ и человѣческаго величія»; IV, 77. Но это только между прочимъ.



понимаемый не только какъ литературное направленіе, но и какъ вѣчное свойство человѣческаго духа, заглушилъ всѣ жалкіе всходы псевдо-романтизма на русской почвѣ и закончилъ собою періодъ борьбы съ литературнымъ мѣщанствомъ. *Romantica poësis extitit et jam non extitit*, романтическая поэзія существовала и уже не существуетъ — таковъ былъ одинъ изъ тезисовъ диссертациі Надеждина въ 1830 г. Какъ ни невѣрно понималъ значеніе романтизма Надеждинъ, но тезисъ его безспорно справедливъ: послѣ появленія «Евгенія Онѣгина», «Бориса Годунова» русскій псевдо-романтизмъ окончилъ свои дни, чтобы больше не воскреснуть. Впрочемъ, ниже мы еще встрѣтимся съ новой вспышкой философскаго романтизма въ поколѣніи 30-хъ годовъ; но и этотъ философскій романтизмъ не прибавитъ ничего существенно новаго къ имѣющемуся уже у насъ матеріалу. Мы можемъ поэтому перейти къ общимъ выводамъ и заключеніямъ о значеніи литературныхъ направленій первыхъ трехъ десятилѣтій XIX-го вѣка.

Мы видимъ за этотъ періодъ времени въ русской литературѣ и жизни прежде всего *упорную борьбу съ литературнымъ мѣщанствомъ и окончательную побѣду надъ нимъ*. Сентиментализму принадлежитъ честь начала сознательной борьбы съ мѣщанствомъ псевдо-классицизма, и въ короткое время литературное мѣщанство оказывается разбитымъ по всѣмъ пунктамъ. Главный представитель русскаго сентиментализма, Карамзинъ, является въ то же время первымъ сознательнымъ противникомъ не только литературнаго, но и этическаго мѣщанства не только мѣщанства формы, но и мѣщанства содержанія; въ этомъ отношеніи онъ, какъ мы увидимъ, оказывается первымъ предшественникомъ Крылова, а затѣмъ и Грибоѣдова. Но уже въ самомъ началѣ XIX-го вѣка отчасти у самого Карамзина, а большею частью у его эпигоновъ, сентиментализмъ обращается въ такое же мѣщанство, какимъ былъ въ свое время ложно-классицизмъ; на борьбу съ этимъ новымъ видомъ литературнаго мѣщанства выступаетъ сентиментальный романтизмъ Жуковскаго, и «Арзамасъ» безъ труда достигаетъ своей цѣли — прихлопнуть врага летучей эпиграммой. Ультра-сентиментализмъ, вступившій въ тѣсный союзъ съ ложно-классицизмомъ, находитъ свой вполнѣ своевременный конецъ въ этой борьбѣ; но освободившееся мѣсто литературно-мѣщанскаго теченія не остается вакантнымъ: побѣдитель попадаетъ въ сѣти побѣжденнаго, и сентиментальный романтизмъ становится литературнымъ мѣщанствомъ. «Русланъ и Людмила» молодого Пушкина наноситъ смертельный ударъ мѣщанству сентиментальнаго романтизма, но тутъ же и самъ Пушкинъ, а еще болѣе его подражатели впадаютъ въ новый родъ литературнаго

мѣщанства своимъ неудачнымъ подражаніемъ Байрону. Многострадальной русской литературѣ приходится затѣмъ испытать еще мѣщанство ультра-романтизма Бестужева-Марлинскаго и присныхъ его, чтобы избавиться отъ всякаго литературнаго мѣщанства и вмѣстѣ съ Пушкинымъ вступить на новый, безконечный, жизненный путь.

Ложно-классицизмъ, ультра-сентиментализмъ, крайности сентиментальнаго романтизма и байронизма, наконецъ ультра-романтизмъ—таковы тѣ пять звеньевъ, которыя составляютъ цѣпь литературнаго мѣщанства въ Россіи. Каждое предшествующее было побѣждено своимъ послѣдующимъ и въ то же время побѣдило его, ибо засосало въ болото литературнаго мѣщанства: *le mort saisit le vif*. Два крайнихъ звена этой цѣпи ближе всего подходятъ другъ къ другу, ибо и псевдо-классицизмъ, и крайній псевдо-романтизмъ совпадаютъ въ своемъ литературномъ мѣщанствѣ по средствамъ, по цѣлямъ и по идеаламъ: мы видѣли, что средство обоихъ—напыщенность и ходульность драматизма, цѣль ихъ—поразить читателя, идеаль ихъ—героическій. По сравненію съ этимъ внутреннимъ сходствомъ всѣ внѣшнія различія между ложно-классицизмомъ и ультра-романтизмомъ отступаютъ на второй планъ. Такимъ образомъ литературное мѣщанство совершило кругъ и замкнуло цѣпь; исчерпавъ всѣ свои средства, оно должно было сойти со сцены; узость, плоскость, безличность уступили свое мѣсто широкому и глубокому въ своемъ индивидуализмѣ реалистическому теченію. Мы указываемъ здѣсь только на *формальные признаки* мѣщанства; содержаніе его измѣнчиво и за эволюціей его въ первую четверть XIX-го вѣка въ русской литературѣ мы слѣдили шагъ за шагомъ.

Прослѣдили мы также и за постепенной эволюціей индивидуализма за это же время и можемъ сказать, что констатировали *неуклонное движеніе по направленію отъ абстрактнаго человѣка къ реальной личности*. Мы видѣли, что въ сентиментализмѣ реальная личность впервые выступила впередъ изъ-за абстрактнаго человѣка, поставила на первое мѣсто непосредственныя переживанія индивидуума; еще болѣе пошелъ впередъ по этому направленію Жуковскій, этотъ поэтъ субъективнаго чувства. Въ общественномъ отношеніи это ознаменовалось и у Карамзина и у Жуковскаго проповѣдью философіи квіетизма, а значить и окончательнымъ демонстративнымъ разрывомъ всякой связи съ абстрактнымъ человѣкомъ. Выступленіе впередъ реальной личности стало еще болѣе яснымъ въ байронизмѣ Пушкина, но въ то же самое время Пушкинъ отказался отъ философіи политическаго и общественнаго застоя и велъ борьбу за самоосвобожденіе реальной личности, признавая одновременно и необходимость борьбы за права абстракт-

наго челоуѣка. Въ этомъ—связь Пушкина съ освободительнымъ движеніемъ декабристовъ, и поэтому онъ ни въ коемъ случаѣ не можетъ, подобно Карамзину, заслужить упрека ни въ соціологическомъ, ни въ этическомъ номинализмѣ. Его Алеко — попытка разрубить гордіевъ узелъ проблемы индивидуализма, крайняя ступень достигнутаго въ то время въ русской литературѣ индивидуализма соціологическаго. На этомъ пути мы отмѣтили постепенный переходъ отъ первыхъ проблемъ этическаго индивидуализма Карамзина къ зачаткамъ эстетическаго индивидуализма Жуковскаго и къ болѣе яркому по своей опредѣленности соціологическому индивидуализму Пушкина. Мы увидимъ, что Пушкинъ соединилъ въ своемъ творествѣ всѣ три рода индивидуализма и явился такимъ образомъ заключительнымъ аккордомъ всей первой четверти XIX-го вѣка, общее направленіе которой въ борьбѣ съ мѣщанствомъ и въ развитіи индивидуализма разобрано нами на предыдущихъ страницахъ. Повторяемъ еще разъ: борьба съ литературнымъ мѣщанствомъ и поражение его—съ одной стороны, движеніе отъ абстрактнаго челоуѣка къ реальной личности—съ другой, вотъ тѣ выводы, которые стоятъ передъ нами и которыми можно резюмировать содержаніе исторіи русской интеллигенціи за первую четверть XIX-го вѣка.

---